

Вещь

2(30)/2024

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Проза

Drunk Trunk

Кирилл Поносов

Поэзия Нижнего Новгорода

Драматургия

Люся Прохоренко



Вещь

2(30)/2024

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

18+



- 3**Сергей Соловьев** *Адам, Офелия и ангелы собачьей возни (стихи)*
- 7.....**Алексей Рачунь** *Гляден (фрагмент романа)*
- 38.....**Ирина Кадочникова** *Край земли (стихи)*
- 42.....**Виталий Кропман** *Хоуп (рассказ)*
- 48.....**Анастасия Волкова** *На береговых линиях (стихи)*
- 51.....**Кирилл Поносов** *Во всем виноваты столы (рассказ)*
- 57.....**Карина Лукьянова, Александр Судаев, Татьяна Присталова, Денис Шабарин, Александр Дарин, Александр Колесников** *Говорить по ту и эту сторону (поэзия Нижнего Новгорода, составление и предисловие Евгении Сусловой)*
- 71.....**Рустам Мавлиханов** *Имя моё; Таммуз для зиккуратов; Глаза бездны (три рассказа)*
- 83.....**Люся Прохоренко** *Пьяный космонавт (пьеса)*
- 92.....**Drunk Trunk** *Книга слона (автофикшн)*
- 120.....**Элвис Бего** *Музей призраков (эссе в переводе Андрея Сен-Сенькова)*
- 123.....**Андрей Пермяков** *Не верю! Но верю (о романе Павла Селукова «Отъявленные благодетели»)*
- 128.....**Андрей Мансветов** *От дебюта – к антологии (о книге Виктории Чайкиной «Острая метрика» и поэтической антологии «Сады и бабочки»)*
- 132.....**Авторы номера**

Сергей Соловьев

Адам, Офелия и ангелы собачьей возни



Керосиновый, радужный, утлый дождёк.
Осень в шляпке стоит и лоскутном пальто,
ждет кого-то, переминается. Там и тут
горы ей, как ботиночки, жмут.
Пелена. Море с лодкой-заколкой,
вынь её — и рассыплется вся копна.

Раздёнсья.
День с себя сними,
и денсья
в глаза мои, ладони, как ничто
в ничто, не созданная знаньем
о смерти. Смети наш дом,
раздёнсья так, чтоб даже рай — изгнаньем

казался. До голого сияния. Сними,
как туфельки, войну и мир. Сними людское,
и эти трусики вины,
и всё такое.
Разночься,
и эти дивные сними девайсы
рассветов за раздвоенной дорогой.

О как мы долго будем одеваться —
всё нестерпимее — друг в друга.

Так проходит любовь, положи
руку на сердце. Пусто и голо,
и пасется душа,
как коза вокруг кола.

Что сказать тебе, счастье, какого я ляда
здесь, в печальной, и так обезлюдел,
что не то чтобы малоприятен для взгляда,
но труден...

Что сказать? Золотистого меда она,
эта жизнь — и льнула, и пела,
и так долго текла... Я твоя, я твоя... —
обернулась, и мимо тебя посмотрела.

Пой, Офелия, сердце венки заплетает —
обереги обоим — ему и ему.
Вот веночек биений, а вот замираний,
и по крови они уплывают во тьму.
В муже — уж, а в любви — любовью.
В каждой твари есть Ной.
Да, голубка? Летит, будто юбка,
а под ней — никого,
только клювик его.
Да, Марина? Да, Анна?
Просто жизнь это рана,
поболит — заживет.
Он един, но и делится на два —
бог и свет, и живот.
Мята и розмарин. Надо точки
расставить над і. Ноготочки
постричь надо им. И свои.
Надо как-то унять эту дрожь
между левым и правым.
Надо как-то понять эту ложь
и назвать ее правдой.
Расплетается дом
в даль реки с рукавами.
Я — и в том, и в другом —
гребень, зеркальце, камень.
За спиной рукава —
то ли вяжутся в узел,
то ли в крылья, в слова...
Ты — из слов, он — из музыки,
между вами — не я,
как на ниточке рая.
Что ж тогда, прикусив, обрывает
швея?

Она говорит:
он входит в мои сны, понимаешь,
как в женщину.
Не в меня, а именно в сны:
их ландшафт постанывает,
выгибается,
так он его заводит.
Он берет меня будущей,
прошлой, любой,
но не этой,
которая так безвольна,
как только во сне.
А потом я иду в ванную,
верней,
что от меня осталось идет в ванную,
смотрит в зеркало,
говорит: понимаешь...
И он кивает оттуда,
как будто стоит за моей спиной,
а меня и не было.

Дай, говорит, я тебя раздену,
любовь говорит слову.
Помнишь, у Кафки, как они рылись
друг в друге, эти ангелы собачьей возни?
Забудь. Как люди.
Возьми меня промежуточную,
возьми между есть и нет.
Дай, говорит свет, я тебя раздену,
и лез на стены.
А потом, как уточка,
переворачивался
лицом ко дну.
Не волнуйся, она говорит окну,
всё у нас будет иначе,
не оставляй меня приоткрытой.

Кто жил и мыслил, тот не может.
Вообще не может ничего.

Как жить и мыслить.
 Но не может.
 А кто бы смог?
 Как дай вам бог
 любимым быть другим
 собой.
 Не даст.
 Не может.
 Кто чувствовал? Кого тревожит?
 Всё, что угасло.
 Не совсем.
 Я помню чудное не-я.

Ты, единственная, которой нет,
 удваиваешь своё небытие,
 черной дырой
 втягивая меня и распуская
 как время,
 и всё это обливается тихим светом,
 давится им, нити рвет, губы,
 а кажется, что поёт,
 ласкает,
 словно жизнь начинается
 после того как спета.

Беленеет Гурзуф
 штормовой,
 и не ветер, а шмон,
 и не горы, а хлам,
 небеса — наготой
 девы с чертом.
 Я живу, как Адам,
 как Кадмон.
 Это море во мне — с ноготок,
 чуть пришибленный, черный.
 Ветер вяжет поселок в узлы,
 рвет и щемит,
 и крыши срывает.
 И летают по небу козлы
 отпущенья.
 Это все происходит во мне,

где-то в области щек.
 Я Адам, я в саду,
 весь я вышел,
 как, впрочем, и виски,
 и готовлю борщок
 на огне
 сатанинском.
 Не каприз, но
 разговеться
 не грех после жизни.
 Ветер воет,
 заходит на Вы,
 этот вой у нас пенъем зовется
 горловым.
 Крикнешь: «Мать!» —
 отзовется
 ухмылкой тюркской.
 Мир, как дырка в заборе.
 Стихает округа.
 Где Гурзуф?
 На весу
 лег у моря:
 друг на друга чихают.
 Нас осталось тут двое
 от рая:
 я и Чёс.
 Он — Кадмон среди псов.
 В белом венчике роз —
 он, а я — черных фиг.
 И внутри нас,
 как рукопись, небо горит,
 не сгорая.

Смотреть на тебя и смотреть,
 жизнь-ненагляда, как же мы разошлись?
 А теперь отдай мне твою смерть, —
 говорит родина, — родненький, шевелись.

Ум стоит у могилы, смерд — ни туда, ни сюда.
 Это любовь твоя или божья слизь,
 а, женка-сыра-земля?
 Как же мы, мать твою, разошлись...

Письма ворочаются в земле, светятся
 нечитаемым. Как жирны

те стрекозы, дай мне их, говорит, давясь.
Как же мы...

Милый, дай умыть тебя кровью,
постелила уже, ложись.
Лицо твое — мокрый гравий.
Не отчаивайся, это жизнь.

Отпустил ее? Ну и славно.
Буду тебе женой
или земными снами.
Добредем и без ног домой.

Мы с тобой «victory», да, касатик?
Или стрелочки «без пяти».
Солнце — коровка божия на указательном
медлит. Лети-лети...

Как увернуться от дыханья смерти,
удерживая радости флажок и дульку с мысла —
вот в чем вопрос.
Простой как репка,
когда б не обреченность,
с которой мы его встречаем
не то чтоб на исходе сил,
но в полутьме уже,
со жмущейся к ногам надеждой,
с собачьим взглядом
и дальним отсветом любви
в душе, всё боле отчуждаемой
от тела. Близость —
вот в чем вопрос: как удержать
ее блажную тягу
родства —
всего со всем,
как спятить в жизнь,
скажи, дитя...

Алексей Рачунь

Гляден



«Глядень» – историческое фэнтези, действие которого происходит на Урале в XVII веке. Чтобы испросить милости богов перед надвигающейся степной угрозой, остяк Русай впервые берет сына Боляка в путешествие на святилище Гляден. Сошедшая на отца и сына благодать богов Глядена оказывается проклятием для всех мест, по которым им предстоит путь домой. Но чтобы спасти семью, его нужно пройти.

В публикуемом отрывке рассказывается о том, как, миновав реки Ашан, Ирень, Сылву, Чусовую, Каму и Тытьву, путники прибывают на святилище. В реальности храм Глядена оборачивается упадком святилища и разложением царящих в нем нравов. Несмотря на это, сила Глядена по-прежнему велика, а власть вармалей – великих шаманов святилища – незыблема.

Автор

15. Улыбка Урталея

Боляк встал раным-рано, еще не остыли в костре угли. Котел, оттертый, отмытый, будто только с прилавка, стоял возле отцовского шалашика, привязанный тонкой конопляной веревочкой за отцовскую же ногу. Такая осторожность могла вызвать смех, но Боляк

понимал, как дорожил отец покупкой. И что значило для него обладать такой вещью.

А значило это, что теперь не тебя зовут к огню, а ты зовешь. И хотя берег и река общие, но чей котелок – тот и хозяин того маленького, тесного мирка, что единственно и существует в пламени путевого костра. И это, оказывается, очень важно. Выходит – кто котлу хозяин, тот

и себе хозяин, и своему пути. А значит, все пойдет заведенным порядком.

Но не котел занимал сейчас Боляка.

Сегодня должно подойти к концу их путешествия, сегодня они достигнут цели — таинственного, сказочного, манящего Глядена. Места, где живут боги и духи и снисходят до общения с людьми. Места, где собраны всевозможные диковины света, ибо гора Гляден — и есть наверхие всего света. И всякий, побывавший там, меняется. В целом мире для него не существует больше тайн и загадок, и становится он с этим миром вровень.

В устье Тытвы, или, как ее называли лёсо, Молянки, несмотря на бревно, зашли ходко, одолев плавную, как лук Копчика, дугу Камы.

Солнце вот-вот должно было свалиться с небосклона, и весь этот путь от начала восхода и до начала заката они шли Камой. Солнце вставало выше и выше, будто освещало путь лучиной, полыхающей ясным днем. Кама от этого рябила, вздрагивала, переливалась, а вдали смыкалась с прозрачным, белым, кисейным небом, и чудилось Боляку, будто плывут они напрямиком в небеса.

И если бы не берега, не косы, длинные, галечные, что нужно оплывать ближе к стрежени, могло бы показаться, что они плывут по ним.

Но это была земля и текущая по ней вода. И бревно, прицепленное отцом сзади к челноку, не давало об этом забыть.

Зачем нужно плыть с бревном, Боляк пока не понимал. Отец купил его поутру на Егошихинском затворе, у Акимки — мышинного царя. Получив небольшую плату, светловолосый мальчишка тут же отцепил одно бревно от затвора и, ловко держа равновесие, обвязал веревкой. Подмигнув, кинул ее конец Боляку. Боляк неуверенно улыбнулся и толкнул веслом в воду. Веревка натянулась, челн рванул, но далеко не пробежал. Засмеялся парень, засмеялся отец, взгоготнул и гусь. И Боляк, делать нечего, тоже усмехнулся.

Вскоре он приноровился плыть с бревном на привязи, благо и Кама понесла воды плавнее. Да и тело приобвыкло с новой работой — гребки стали не резкими и отрывистыми, а плавными, размашистыми, скупно и расчетливо отмериваемыми.

Впрочем, не только бревно, но и берега были свидетельством тому, что плывут они отнюдь не в облаках.

Вполне земное, обширное судоходство существовало меж этих берегов. Барки и полубарки, шитики и насады, проворные и мощные струги, стремительные парусные обласа, шнявы и расшивы, пермянки, челдонки, выдолбленные из цельного ствола валкие однодревки, одноствольные же, окопченные и вертлявые лодки-выжиги, покрытые корой и шурами челны, плоты из бревен, на которые свели целые рощи — все это двигалось вдоль, поперек, вверх и вниз, с разной скоростью, и не было никому до этого никакого дела.

Вниз по течению шли барки с солью, плоты с лесом, набитые мехами купеческие расшивы и истекающие янтарной смолой громадины-беляны. Вверх, в соляную каторгу, тянулись на веслах, под заунывную колодную песнь плоскодонные огузлые гусяны с кровлей из корья. А у правого берега, там, где в Каму впадало меньше рек, по набитой тропе-бечевнику шли бурлачьей тягой коломенки с хлебом.

Серединой реки, стремниной, прошло вверх невиданое, красивое судно, на носу которого была вырезана из дерева голая женщина с распущенными волосами, а на высоком мостике стоял-красовался важный человек в шитом кафтане и сафьяновых сапогах.

Боляк, на всякий случай, и помочился в воду кругом, и сплюнул справа и слева от лодки, и даже потер под обмоткой крест. Что дело тут нечистое, он понял сразу. Ведь волосы у женщин должны быть заплетены в косы. Иначе нечистая сила начнет дергать за волосы и выдергивать из женской головы разные вздорные мысли. Даже если это деревянная женщина, мало ли что она придумает.

И вообще, довольно мудрить. Скоро Гляден, дотуда дураки не добираются, оттуда дураками не возвращаются. Если маленько мудрости и недостает, там добавят. А пока надо голову для другого применять — по сторонам глядеть.

Боляк посмотрел вперед. Кама собиралась заходить поворотом за высокий, поросший сосной, песчаный берег, будто сгребала

его в охапку. И солнце в прозрачном небе уже клонилось следом, к западу, еще только принаравливаясь макнуться в воду, будто поплавок.

А отец велел держаться левого берега, что был ближе к их, восточной стороне. Уже скоро, понял Боляк. И тотчас увидел доказательство.

На отлогом песчаном берегу, под далекой кручей, по отмелям бродили люди и махали удилищами. Все бы ничего, да только удилища были уж больно толстыми и прямыми. Рыбаки даже не взмахивали ими, а будто бы пихали в воду, как давешние углежогисты в «кабана».

Вблизи Боляк разглядел, что никакие это не рыбаки, и уж тем более не жогали. Это были багорщики, и вылавливали они из воды бревна.

А бревен было много. Проходящие мимо суда, все до одного, подплывая к устью, старались сплунуть в его сторону бревно. А если проходил плот леса, то плотогонцы по широте душевной, отделяли сразу и по несколько бревен. Кто-то при этом крестился, кто-то снимал шапку, а кто выписывал руками совсем непонятные кренделя.

Зазевавшись, Боляк не заметил, как и в его бревно впился длинный багор и челн потащило к берегу.

Вскоре они с отцом сидели на куче обсыхающих бревен, пили душистый ягодный взвар и вели разговор. Точнее, разговор вел Русай, а Боляк лишь важно ковырял прутиком подошву чуни, да иногда кивал, как он научился этому за время путешествия у таких речных костерков.

Багорщики приняли их радостно, Русая здесь явно знали и помнили, отнеслись к нему со всем уважением и почтением, а когда он вынул медовый забрус да крынку с барсучьим салом — традиционное свое подношение, так остяки стали и вовсе дорогими гостями.

Отказавшийся от невесты откуда взявшейся кумышки — сбродившего, пьяного, кислого напитка на оленьей сыворотке, Русай степенно рассказал про путь, не забыв поведать и о своих делах, и о состоянии угодий, выгонке меда, бортевом промысле и промысле

пушном и зверином. И о том, как обстоят дела в Карьевом павыле, и у самого Карья. И про то, что в Торе у давно уже позабытого Боляком Афыла случилась беда с мельницей, и о чудесном спасении работника Мички.

Здесь багорщики зацокали языками и заверили, что духи Глядена спасли Мичку, зная, что Русай уже направился к ним. Но надо узнать, не в залоге ли у них осталась душа Мички. И если в залоге, надо ее оттуда раздобыть.

Особо старался, особо цветисто рассуждал длинный как цапля, но какой-то юркий парень Мнёшка, и Боляк сразу убедился, что человек Мнёшка дельный, знающий, умудренный.

Затем Русай поведал и про Колмака, и про отшельников Кокуя и Курилу, и про ширящийся в Кунгуре кожевенный и гончарный промысел. Впрочем, про то Боляк уже не особо слушал. На словах про Колмака вспомнилась ему Весняна, и сразу стало как-то беспокойно.

— Что ты привезешь мне с Глядена? — вспомнил Боляк ее слова. — Диковин, слыхала я, там много...

Он проверил, на месте ли кольцо из жада, потрогал под обмоткой крест, вспомнил, где и горшок с гальками.

А вокруг не было никакого Глядена. Странные багорщики, угостившись кумышкой, по очереди выходили на песчаный берег возле устья неширокой, в полторы Егошихи реки и вылавливали из воды бревна.

Они будто собирали дань со всех проплывающих вниз по Каме, которая сузилась меж крутых, лесистых берегов и буровила теперь пармы, как шест углежогиста разожженный «кабан». И солнце, что полыхало еще недавно, вдруг погасло за паклей туч.

Задумавшись, Боляк обжегся взваром. Отец сидел рядом и причитал:

— Ай, беда! Как может помереть ванк-вавармаль Еширка? Поди сам Еширка тебя, Мнёшка, и подговорил мне такое сказать, чтобы я шибко-шибко его пожалел, а потом так же шибко обрадовался, тем более!

И Мнёшка, долговязый парень, выделявшийся выкрашенными охрой и сведенными к переносице бровями, поведал про постигшее Гляден горе...

Ванквармалъ Еширка перестал слышать духов земли, к чему и был приставлен на Глядене. И решил, что его земная душа померла.

Но Еширка знал, что делать, ведь так уже было. Он велел выдолбить люльку-зыбку в свой рост. А затем лег на землю и велел накрыть себя ей, будто родился навыворот.

Но если человек рождается целым, то при рождении души все иначе — чтобы душа родилась целой, человек, её создающий, должен быть измельчен.

И вармалъ приказал стучать по зыбке ножами, сечками, топорами, косами, будто его тело иссекалось на начинку для пирогов.

Еширка хотел, чтобы его понарошку изрубленное тело вытянуло из-под земли ту душу, что забрали себе духи.

— Уй, какой мудрый вармалъ Еширка! Не зря его почитают даже за Лёком и Иргиной! — восклицал Русай.

А Боляк охнул:

— Ты гляди-ка, вот ведь как бывает! Рубят человека как мясо, а он лежит под колодой да посвистывает себе в усы.

— И вот мы бьем что есть силы, — продолжал Мнёшка, — и изредка спрашиваем: ну что, Еширка, пришла к тебе душа?

— Нет, не пришла, маленько еще порубить надо, — отвечает Еширка.

Раз спросили, два... А потом Еширка перестал отвечать.

Подождали мы, посекали, снова спросили, — не отвечает. Сняли колоду, а вармалъ-то мертвый!

— Как же так! — ахнул Русай.

Багровел закат. Багорщики сидели с раскрасневшимися, но скорбными лицами.

— Задохся, — обыденно сказал Мнёшка.

— Ой, беда! — расстроился Русай.

— Кусяпа говорит, — продолжил Мнёшка, — когда Еширку под колоду клали, туда же забрался Ялвысыкум — ленивый дух воздуха. Он любит поспать там, где безветрие, чтобы не носиться зря над землей. А когда мы стали колотить, Ялвысыкум испугался и задушил шамана.

Багорщики прихлебывали кумышку, кивали и соглашались. Дескать, сплеховал Еширка, бывает...

— Зато Йынкарапа и Кусяпа здравствуют, как и прежде. И неустанно мреют, — успокоил Мнёшка остяка.

Тут по Каме прибежало скопище бревен, и багорщики, разобрав камбарцы, изготовились их ловить.

Встали и Русай с Боляком. Мнёшка оценил Русаев котелок, особенно ему приглянулись подвесы в виде уточек.

— А ведь не просто так, Русай-человек, эти утки здесь излажены. Умелец котел лил. Утки — птицы особые. И раз ты с таким котлом — это неспроста!

— У нас и гусь есть, — важно сказал Боляк.

Ему хотелось понравиться Мнёшке.

И гусь, будто понимая, важно взгоготнул из клетки.

— Вот видишь, — хитро улыбнулся Мнёшка, — мальчишка-то разумеет. Всё не зря, Русай-человек, всё не зря. Еширка умер, зато ты с сыном явился...

Теперь им предстояло плыть по впадавшей в Каму реке Тытьве. Да не просто плыть, а с грузом. К Болякову челноку Мнёшка привязал еще одно бревно, а к Русаевой пермянке — небольшой сплоток.

Пот почти сразу залил Боляку глаза, настолько тяжело было тянуть вверх по извивистой речонке бревна. Он уработался, и черно-желтая вода Тытьвы под легким веслом взбивалась аж в молоко.

А берега тянулись медленно-медленно. И после широкой, будто расплесканной по всей земле Камы были они непривычно близкими. Изредка билась в них ленивая волна, плескалась рыба, шлепался с гулким плеском глиняный подмыв.

Наконец Русай догадался перецепить бревна Боляка к сплотку, заволочь на них челнок, а сына забрать к себе. Вскоре оба толкались хутапами в дно, и дело пошло быстрее. Теперь можно было и оглядеться.

Слева берег почти сразу взбурвился заросшей лесистой кручей, а справа был пологим, с глиняными подмывами. Редко-редко

росли по нему кусты, многие были с повязанными на ветви лентами. Впрочем, не было в том ничего интересного, особенно после Чочвокара.

Зато левый, лесистый берег упирался за-тылком в стеганую шапку неба, косматился нестриженной гривой елей, сбегал курчавой бородой леса прямо к реке. Казалось, где-то в этих зарослях есть и глаз, и кто-то огромный, властный, наблюдает за рекой.

А течение вдруг переменялось и побежало не к устью, а будто бы к истоку. Боляк, никогда такого не видевший, едва не выронил хутап.

— Здесь такое бывает. Может, от того, что с Камы задувает, может, еще от чего. Это же Тытьва — духовая вода! И даже лёсо, что не верят в наших богов, называют ее Молянка, — пояснил Русай.

Кама давно скрылась за поворотами, и даже дым от костерка багорщиков без следа развеялся в блеклом предвечерии. Тытьва гнала им вслед, вверх по реке, опавшие листья, будто пену на суре. На дне лодки скопилось вода. В ней отражалось крохотное небо, а на нем туча, размером будто набухшая от воды тряпка.

И мальчишке подумалось, что эта река не течет в другую реку, чтобы расплескаться по всему миру. А втискивает в себя миры больших рек и затекает, вместе с ними, как сладкое питье, прямо в рот горе.

Временами гора отступала от реки, будто отскакивала вдаль, и оба берега тянулись низкой опушкой кустов. Но круча отступала, а берега по-прежнему сдавливали желтую ленту Тытьвы, будто жесткие пальцы оленевода вымя важенки.

Хутапы пришлось бросить. Хотя лодку несло посередине реки, шестью можно было достать до любого берега, но не до дна. Оно будто исчезло, и Тытьва теперь источалась прямо из глубин земли.

Гривистый берег справа придвинулся, навис, нахмурился. Был он не особо выше сылвенских круч или стрелки Чочвокара.

Но Боляк понял — это и есть гора Гляден. Просто она растет в небеса, но не с земли, как остальные горы, а из самой ее глубины. Там,

в недрах, подножие Глядена. И чтобы прочувствовать всю его громаду и величину, нужно ухнуть куда-то вниз.

Оттого и Тытьва здесь бездонная, оттого и течет к истоку. И тянет за собой, вглубь, всякого!

И предвкушение Глядена, которым и жил Боляк все эти дни, сменилось тревогой. Заныло под сердцем, забурлило в животе, проступила бисером между лопатками испарина.

А еще мутило от того, что Мнёшка, шагая по берегу впереди лодки, колотил в бубен.

Как пояснил отец, так Мнёшка отгонял менквов — жидкосильных, но вредных духов, большой беды наделать неспособных, но напакостить, заморочить, отвести глаза готовых всегда и с радостью.

От гулко-го боя Мнёшкиного бубна становилось тошно. Благо за очередным поворотом их плаванье кончилось.

Гора отступила от берега за большую поляну. По ней в реку сочилось несколько размывов, видать чуть выше били ручьи; валялся на берегу сор и хлам, плескались в воде привязанные к кольям лодки, и все выглядело как обычное людское становище.

Среди хозяйства торчали те же рассохшиеся от времени идолы, что и в любом пореченском павыле. И так же они были посечены вожжами. Видать, и на Глядене божки ленились отрабатывать идоложертвенное, за что и были наказаны людьми.

Те же ленты рыбьих кишок тянулись от болвана к болвану. Так же трепетали на жухлых ивовых кустах линияльные ленточки.

Вот только грозный, неприветливый лес нависал со склона горы, будто живой. И словно приценивался, присматривался, примерялся к путникам.

Теперь, вблизи, на берегу, эта угроза ощущалась сильнее, и что было тому виной, кто знает. Может, усталость от долгого пути, а может, и сам лес — круто вздыбившаяся почти от самой воды парма.

В ее грозной, темной стене не было видно просвета, а деревья стояли будто бойцы в шеренге — плечом к плечу. У их подножия, внавал, слоями лежал валежник, весь отрух-

лявевший и обомшелый, но яростно не желавший терять обличье леса и становиться землей.

Тревожило и то, что из крутологого, заросшего склона выглядывало краснозеленое каменное оголие, точно в заросшей до самых век бороде раззявилась пасть.

А в стороне виднелась жуткая ямища. Над ней роился гнус, и пролетающий вдоль берега ветер завывал в ее осыпавшейся, топорщащейся корнями деревьев глубине, будто это пустая, безокая глазница беспомощно хлопала на ветру складками век.

И чувство, что гора живая, временем и жизнью порядком поизувеченная, однако до сих пор исполненная неведомой силы, не проходило.

И Боляк подумал — эта гора способна сожрать любого. Хоть слабого остяка, хоть могучего вармаля Еширку. Сожрать человека и запить поклонением человечества.

Но неунывающий Мнёшка, широко улыбаясь, быстро распотешил Боляка:

— Что, пэхи, готов к Глядену? — простецки, как стародавний товарищ, толкнул он в плечо мальчишку. — Надолго приехал?

— Ня знай, — улыбнулся Боляк, — отец говорил, на седмицу...

— Седмица? На Глядене седмица — от серпа до комелицы, — расхохотался Мнёшка.

И Боляк подхохотнул, но не потому, что понял шутку, а так, в охотку. Очень ему нравился Мнёшка, хотел бы он иметь такого товарища.

Русай к тому времени закончил увязывать в лодках пожитки и собирать поклажу. Теперь можно было идти дальше, пешком. Русай нес два больших короба-пайвы и заплечный мешок, хиир поменьше достался Боляку, а Мнёшке выпало нести котел.

— Смотри, не оброни, — наказал ему Русай.

— Что ты! — ответил Мнёшка, а сам напялил котел на голову и пошел впереди, дурачась, делая вид, что ничего ему не видно, налетая с гулким звоном на ветки.

Боляк смеялся, а Русай незло бранился, ведь поделаться все равно ничего не мог. В руках была ноша, а путь лежал в гору.

Вверх прямо по горе уходили две прямые, сделанные из ошкуренных, осучкованных, скрепленных за концы скобами, будто жерди, лесин.

Казалось, кто-то хотел сделать здесь огромную прямую лестницу и заложил под нее основание. Эти бесконечно длинные балки лежали на опорах из пней, а место, где они пролегали, проходило по расчищенной просеке.

А людской подъем был в стороне. И был он хоть и полог, так как вел по склону горы наискось, но Боляк быстро запыхался. Тяжело дышал и отец. Лишь Мнёшка не переставал кривляться и дурачиться. Было видно, что человек он бывалый, и путь этот ему привычен и легок. Вскоре, впрочем, и он затих.

Идти было хотя и трудно, но до жути любопытно.

Чем выше, тем реже был лес. Исчез валежник, поредели, а потом и вовсе исчезли всякие деревья, кроме елей. А елки все как одна были странные — от верхушек и до корней они исходили смолой, будто рыдали.

От смоляного запаха в лесу стоял такой густой и крепкий дух, что, казалось, закружится голова. Смоляные потеки искрились, переливались, рябили, будто бы это был не лес, а горы, сложенные иренским лунным камнем.

В глазах все блистало и мельтешило, смолистый воздух давил грудь, и чудилось Боляку, что возникают там и тут диковинные образы.

Но встряхнув головой и разогнав морок, он видел, что эти образы — рогатые рожи, шипастые, бородавчатые тела-шишиги, оказывались лишь масками, наподобие тех, что использовал на праздниках старый Карья.

Тут на дереве висела вырезанная из коры маска, с измазанным глиной, раззявленным ртом. Там лубяной скукожившийся сверток был надет на сучок. И казалось, что это притворившееся деревом лесное чудовище тянет к тебе костлявую руку из прорехи лубяна.

Где-то дерево было овязано, будто поясом, старыми, тлелыми хвостами, и налетевший ветер взметывал их, как кикимора свои слежалые космы; на других деревьях кто-то нарисовал охрой непонятные знаки. Их краски смешивались с натеками смолы, и получалось нечто совсем уж немислимое.

А тропа вскоре заложила поворот и вновь пошла пологим подъемом, но уже в обратную сторону. Подъем выполаживался, пошли меж деревьев просветы, в них голубело небо. Видимо, до вершины оставалось недолго.

Вскоре показался еще поворот, а перед ним лес раздался вширь, отступив за большую поляну. В ее середине чернели строения — хотэ, и пара таскаков.

И сразу стало легче на душе. Уже и не хотелось Боляку никаких чудес, сегодня уж точно, но как было признаться в этом?

А здесь все было понятно. По-домашнему, что ли. Поленица, колода для колки дров, крытый корой и дерном хотэ, навес-таскак, чувал. И даже ямы, засыпанные старым углем, что попадались там и тут, не казались неряшливыми. Видно было, что поляна обживалась долгу и основательно.

У колоды возился огромный, костистый мужик. Он насаживал на топорике старый, исцербленный топор. Стропы была видна лишь мужичья кряжистая спина в линялой рубашке.

— Брось колотьбу-то, Ярко, гостей веду дак, — крикнул ему Мнёшка.

— Чего? — оборотившись, рявкнул Ярко.

Боляк аж отпрянул, и от этого крика, и увидав лицо мужика. Да это даже нельзя было назвать лицом!

Это была грубая, будто вытесанная из бревна, с размаху, без примерки, личина. Широкий лоб, развитые надбровные дуги будто острожным валом Гляденовской горы сбегали со лба.

Перебитый нос бугрился острыми шишками, как осетровый хрящ, а затем вообще сваливался на щеку. По которой не бороздой даже, а именно что трещиной, будто бы лицо действительно рубили, шла глубокая морщина.

Впрочем, был и шрам, он сбегал по другой щеке, деля ее наискось, от уха до рта, грубо и неровно заросшим стежком, словно в спешке кто-то подлатал прореху на роговом куле.

Губы страшного мужика, неожиданно яркие, красные, тоже были посечены мелкими шрамами, как у долго прожившего, но не утратившего задора, и потому часто срывавшего-

ся с рыболовного крючка ерша. Вокруг рта ключьями разлеталась седая борода и вилась чуть не до пояса.

Страшен и огромен был этот старик. В рассохшихся на морщины глазницах вращались его большие, голубые глаза. На них напозлали седые, длинные брови. Он молчал, но и не хотелось, чтобы он еще и говорил.

Чуялась в старике силища, но угадывался и возраст — движения были скупы и размеренны, а колун хоть и крепко сидел в узловатых пальцах, но сами лапищи покрывали старческие бляшки, как блин капли пригоревшего масла.

— Гостей веду наверх, к шаманам, — крикнул Мнёшка, приложив ко рту ладони растробом.

— Не ори! — разлепил Ярко губы, будто расколол надвое полено. И откинул со лба седые пряди, чтобы лучше рассмотреть гостей.

И тут Боляк ужаснулся еще больше. Во весь лоб у старика было выжжено клеймо. Тамга. Но тамгу ставят на то, что кому-то принадлежит. Кому же мог принадлежать такой страшный, могучий человек?!

— Малец? — снова разомкнул рот, как раздвинул тес в заборе, старик. И отвернулся к куче бревен, потеряв к гостям интерес.

— Опять ты все ленты посрывал, — тихо заворчал Мнёшка, — ленты, кишки, рыбы хвосты, обереги. А пронизки с бусинами зачем из идола выковырять? А монеты почто с глаз сорвал?

— Ты, Мнёшка, поберегись, — ответил, не оборачиваясь, возившийся с топором старик. И повел могучими плечами, — старый я стал, неловкий, вдруг задену...

Мнёшка тотчас оказался на тропке.

— Ай, ну его! — он состроил в спину старику смешную рожу, показал язык, сделал козу и махнул остякам рукой, дескать, пора.

Когда путники наладились опять подниматься по тропе, навьючили на себя груз и уже вытянулись гуськом след в след, Ярко крикнул им вслед, да так громко, что аж вспорхнули с кустов птицы:

— Приходи гостевать, малец, вечер-от. Ух я тебя угощу-у-у, — и захохотал громко, будто вбивал себя этим хохотом в землю.

От этого смеха Боляк аж подпрыгнул, и встал посередке, вторым, между Мнёшкой и отцом.

Дорога шла по узкой, между двух оврагов, тропке. И вправо, и влево в прогалах уже видна была дальняя местность. Вправо она уходила в лесистое заовражье, где курились испарениями заглядывающего на огонек вечера синие, дремучие урманы. Испарения эти разрывались на невесомые пуховые клочки, и отлетали к небу, еще миг назад голубому, и вмиг охмуревшему, набухшему, низкому.

Влево же виднелась река, по которой Боляк с отцом приплыли, и отсюда она казалась не толще пояса. И текла опять от истока к устью. Это было видно по нанесенной на воду листве.

И лишь сейчас стало ясно, насколько же высока и крута гора Гляден. Круча ее, обрывистая, лбистая, уступчатая, вся заросшая смолистым древостоем, оплывала к реке, как восковая свеча...

А за рекой, далеко-далеко, шла равнина, вся изрытая, с набитыми непонятно зачем короткими дорогами, тут и там поставленными навесами и шалашами, вблизи крохотных, серебряных озерцов с колодцами-журавлями. В этой огромной, располозованной дорогами долине была и растительность, кусты, редкие деревца, травостои. За долиной виднелось и устье. Там навалом грудились те самые бревна, что вылавливали из Камы багорщики. Вблизи они казались огромной кучей, а с Глядена были все одно, что щепка для растопки костерка.

Виднелась и сама Кама. И она тоже уже не казалась безбрежной, а вилась пусть и широкой, но измеримой, прикладываемой к глазу лентой воды, и бежала куда-то в невозможную даль.

За Камой вздымался лес, и уходил сплошной темной стеной далеко-далеко, к окоему и за него. И только с Глядена Боляку стало понятно, что окоем никакой не предел мира, а предел взгляда.

И что есть у человека и внутренний взгляд, куда шире, дальше, зорче того, которым вооружены глаза. Ну, может, не у всякого человека, но у него, Боляка, такой взгляд точно есть.

Хотя и глаза его были хороши, видели многое, всякое, были зорки и быстры. Не мог Боляк сказать про свои глаза ничего худого, но вот поди ж ты, выискался и внутренний взор, разве это плохо?

«Хорошо, наверное, — решил Боляк — Разве плохо, если б были у меня четыре руки?»

И догадка, что это начали случаться гляденовские чудеса, окатила его, будто внезапный ливень.

А небо над Камой опять было чистым, но с лесов, с окоема, тащило ветром облака и сбивало в тучу.

— Хох, — усмехнулся Боляк, — как это так получилось? Я про дождь подумал, и вот она, туча!

Ему очень понравились такие способности, и он решил подумать о чем-нибудь еще, чтобы и эта мысль воплотилась.

И только Боляк приготовился представить Весняну, как тут же полетел кубарем. Все вокруг завертелось колесом, будто явилась ему не степенная красавица Весняна, а бесовка Тайся из Тора.

— Под ноги смотри, — раздался веселый голос Мнёшки.

Боляк сидел на тропинке и мотал головой. Где-то в стороне хохотал и отец.

Мальчишке стало обидно. Он собирал скарб, рассыпавшийся по тропе, и понять не мог, за что же он запнулся. Уж не поставил ли ему Мнёшка подножку?

Впрочем, что греха таить, споткнуться было обо что и кроме чужой ноги.

Тропа теперь больше напоминала дорогу. Сильно захламленный, запущенный, оставленный без призора вож. В низких местах дорогу когда-то гатевали — укладывали в несколько накатов бревна, чтобы выправить ямы. Сейчас бревна выперло из земли, и они торчали побитые, иструхляевшие, в расколах и трещинах.

Местами лезли из земли камни, и тоже норовили зацепиться за все, что двигалось мимо.

Валялось на земле и много мусора — щепка, ветви, головешки, пережженные кости...

Теперь путники на дороге были не одни. Обогнали их трое тщедушных, одутловатых стариков, волокших на плечах большую кор-

зину с рыбой; из кустов выполз дед с лукошком, в котором из-под холщовой тряпицы угадывались грибы. Причем, как заметил Боляк по торчащей с краю ножке, несъедобные.

И сам старик был будто гриб – округлый, обтекаемый, негибучий. В большой войлочной шляпе, обвешанной по полям подвесками, будто бархатистая головка гриба. Не успел Боляк подивиться на него, как дед исчез.

Впрочем, огорчаться было некогда. Ибо и навстречу стал попадаться люд не менее диковинный и диковатый.

Многие шатались как пьяные и смотрели окрест дурными глазами. Кто-то приплясывал, другой полз, третий шел колесом, перекатываясь с ног на руки.

А затем мимо пронеслись нарты, не запряженные ничем. В них головой вперед лежал живой человек и бессвязно бормотал, а сзади нарты толкали два белоглазых, шальных, будто не в себе мужичка, по виду вотяки.

Где они взяли нарты, куда дели оленей – кто знает!

Городище показалось внезапно. Его стена, рубленая из бревен и плах, стоящих не стоймя, как в острожках, а лежащих друг на друге, как изба, или стена в кунгурском кремле, была стара, замшела, гнила.

Башни еще стояли, но совсем покосились, а кровли на них обвалились. Проходы завалило мусором, землей, и сквозь эти завалы, через обвалившиеся лемеха кровель, тянулись к небу тощие березки и осинки.

Казалось, это просто странный древний кремль, давно пришедший в упадок, и так же давно уходящий в тлен. Но еще угадывались на разошедшихся и темных от времени бревнах какие-то странные знаки и рисунки.

Если приглядеться, можно было увидеть обводы людей и животных, и даже целые их скопища, где каждый что-то делал. Вот кто-то копает, вот несет поклажу, прямо как они сейчас, а иной стоит с огнем на длинном факеле, будто мышиный царь Акимка.

Из щелей между бревнами вразной торчали колья, а на них были нанизаны черепа животных да щучьи пасти.

Впрочем, и тут все было устроено как попало: некоторые колья топорщились голые,

видать черепа сдуло ветром, и никто не озаботился их поправить, на других было сразу по нескольку костяков.

Всюду трепетали тканевые ленточки, звенели нити с бусинами и медными пронизками, как на Глушенятской горе. Между кольями дрожали на ветру стрелы с обернутыми вокруг них берестяными свитками – посланиями богам. Все это было старо и неряшливо, но, спору нет, впечатляло.

Стена городища расходилась в стороны, вправо к наверху горы, влево к уклону, и сбегала в овраг. Она утопала в широком насыпном, давно поросшем травой и зарослями малины и ежевики валу, будто это осколки гнилых зубов вращались в десну старого шамана Карьи.

Под валом был ров – захлащенный, засыпанный, заросший кустарником. Где-то через него перекидывались мостки – грубо сколоченные, обветшавшие, давно ждущие поправки, а где обходились жердями и досками.

Вершина горы стояла безлесой, и ветер сквозил над ней, растаскивая клочья таких же неряшливых, как и все вокруг, облаков.

Чуть в стороне высилась более-менее прибранная, обжитая башня. У нее сохранились ворота, бойницы и даже четырехскатный островерхий, покрытый обомшелым лемехом купол. Над ним высился кривой шест, оплетенный истлелыми лисьими хвостами.

Правда, караульная площадка поверх башни пришла в негодность, поэтому караульщик сидел внизу, оперевшись спиной о стену. Впрочем, надеяться на него не приходилось – был он то ли пьян до беспамятства, то ли крепко спал.

Стены башни пестрели кусками кожи с тиснеными на них тамгами. Эти кожаные тамги были приколоты к бревнам подобием небольших, горбатоспинных татарских ножичков – будто кто-то уменьшил волшебной силой настоящие ножи.

Боляк хмыкнул. Если это чудеса – то такие чудеса для него не диво, а так, дурь какая-то.

Гораздо забавнее было то, что рассказал по пути Мнёшка.

После того как Боляк споткнулся, дорога стала совсем пологой, одышка прошла,

и отец разговорился с провожатым. Разговор их касался того, кому же теперь перейдет наследие ванквармалю Еширки. Ведь не может же святилище быть без связи с духами земли!

— Решают, дак, — ответил Мнёшка тоном знающего человека. Но человека такого, что своим знанием ставит себя чуть выше остальных, и сомневается, достойны ли они, чтобы делиться с ними сокровенным.

— Долго решают? — деликатно, чтобы не уронить этого Мнёшкиного возвышения, спросил Русай.

— Долго! Дело-то серьезное. Особенный человек нужен, чтобы ванквармалем стать. Нет пока такого человека. Сколько «лосиных соплей» изведено! Сойтэсьмека — старика-грибовика по дороге видели? Тоже шаман, стало быть. Гриб это земляной пузырь, — вздел палец Мнёшка.

— Ну? — удивился Русай.

— А как же! Земля это пузырится, стало быть. Сообщить что-то хочет, знаки подает. Одни грибы птицы клюют, и на небо сообщения уносят, другие грибы люди едят, и видения видят. А третьи грибы мёнквами заговоренные — их ни человеку, ни зверю есть нельзя.

— Есть и такие грибы, — важно, как знающий, согласился Русай.

— А грибной шаман, он не просто разбирается, какие грибы для чего, он по их росту, по скоплению, по местам, по виду может узнать. И читает по ним, от каких подземных духов какое послание. Возьмем Еширку...

— Так! — подобрался Русай.

— Сейчас еширкина душа в подземельях, в ходах Осензя может даже, общается с подземными духами, желает узнать, кого вместо него они желают сделать ванквармалем.

Но напрямую духи этого передать не могут, не через кого. И вот говорят они Еширке — как только на Глядене выберут, кого мы хотим, так твою душу и отпустим куда-тебе надо, ты только сообщи.

И начинает земля надувать пузыри — там всякой гриб, здесь такой, тут целый мост, а там круг Люлькулнэ — дурной лесной женщины! Такой увидишь, скорее уходи, стало быть. И цвет имеет значение, и рост, и обилие.

А без ведающего шамана это пойдика прочти! Собрать надо не абы какие грибы, а только те, что послание содержат.

— А вдруг да грибники придут, да порежут те грибы, что для послания выросли? — перебил Боляк Мнёшку.

— Кто? — усмехнулся тот, — грибники? Здесь, на Глядене?

И Боляку сразу стало неловко за нелепый вопрос.

— Это да! — согласился Русай. — Важнейший, стало быть, на Глядене человек, сойтэсьмек. Надо же, сколь раз бывал, а увидел его впервые, тем более.

— Так он не каждый раз и является. Он и сам как гриб, раз, и появился, когда нужда есть.

— А когда нету, где он живет? — спросил Боляк, но Мнёшка так глянул на него, что Боляк дал себе зарок не открывать более рта все время, пока они будут на Глядене. Ну или пока не придут, точно.

— Только вот грибной шаман послание собрать и доставить способен, а что внутри послания, разобрать не может. Тут без «лосиных соплей» никуда.

И Боляк, конечно, не удержался, чтобы не спросить, что такое «лосиные сопля».

А это было уже совсем без уважения к достоинству Мнёшки, его знанию и премудрости. И провожатый даже не стал смотреть на мальчишку, а лишь фыркнул.

— Срежь-ка мне веточку, да остругай, так чтобы между зубов проходила, — попросил он Боляка тем тоном, что едва отделяет просьбу от повеления.

Ковырнув между зубами оструганной щепой, он цыкнул, пустил длинную струю слюны, будто змея-уж пахучку, чем привел мальчишку в полный восторг.

Это пришлось Мнёшке по душе, и он снизошел до того, чтобы удостоить мальчика знанием:

— Лось, знаешь его?

Боляк степенно кивнул. Вообще в его жестах и манерах как-то очень быстро стало появляться много мнёшкиного. Будто тот был ему с рождения и вместо отца, и вместо друга, и вместо наставника.

— А ты знаешь, что лось был сначала о шести ногах? — тотчас щелкнул по носу задаваку Мнёшка.

— Жил себе лось, пасся, уй, быстро бежал на шести-то ногах, пока не увидел его Хальви-Урталей, один из любимых детей Тарума.

Решил Урталей поймать шестиного лося, а тот наутек! Долго преследовал Урталей лося, загнал его на Камень.

Скачет лось по камню, устал маленько. Догоняет его Хальви. Нельзя лося останавливаться, а сил все меньше и меньше. Ревет лось, фырчит, брызжет слюной, пускает сопли, роняет их по всему Камню, лезет вверх из последних сил. Настиг Урталей лося, и отрубил у него две ноги.

Одну, стало быть, для себя, другую для Тарума. Идет обратно, несет на плечах лосиные ноги, радуется. Рассуждает вслух, как он отца обрадует.

Шел Урталей, шел, да и встретил людей.

— А нам что дашь? — спрашивают люди у Хальви. — Чем порадуешь?

— Соберите лосиные сопли, и будьте рады, — отвечает им Урталей.

Делать нечего, люди так и поступили. Только сопли к тому времени забродили, и, напившись их люди стали пьяные.

С тех пор людям для радости нужно выпить, Урталей стал богом веселья и посредником между Тарумом и людьми, а лось бегаёт по миру на четырех ногах, — закончил рассказ Мнёшка.

— Ничего не понял, — озадачился Боляк — А грибы зачем?

— Об этом ты узнаешь завтра, а мы пришли, — отмахнулся Мнёшка, подходя к башне.

Когда Мнёшка скользнул в проезд башни, Русай с Боляком было устремились следом. Но дремавшая, раскисшая будто грибное крошево на жаре, стража тут же вскочила и преградила путь.

Мнёшка развел руками и вопросительно поглядел на Русая. Тот понял, и вытащил

из заплечного короба-пайвы малую связку лисьих хвостов.

Жадно уцепившись в связку, Мнёшка велел ждать, дескать он только получит шаманское дозволение и тотчас вернется, чтобы провести остяков внутрь.

Но не вернулся. Ночевать пришлось на поляне под стенами городища, среди таких же, как они, ходоков к Глядену.

Русай с Боляком нашли покинутый шалаш, крытый лапником с уже осыпающейся хвоей, споро обмели от щепы и мусора землю, запарили в котле протертого пшена, выпили травяного взвара с медовыми сотами и уснули, притулившись друг к другу.

Боляк хотел было обидеться на обманувшего их Мнёшку, но сил на это уже не было.

Перед тем как уснуть, он глядел в прогал между лапником на небо.

Оно высветлилось и окрасилось черным густым взваром. А потом вышла луна и полетели к земле сияющими крошками звезды. Затем небо качнулось из стороны в сторону, Боляк было насторожился, но понял, что это мотнулась его тяжелеющая голова — он засыпал, даже не успев закрыть глаза.

Взглянув сквозь сонный взмах ресниц на небо, он увидел, что звездное крошево уже никуда не летит, оно растянулось по всему небу Млечным путем — улыбкой Урталея.

16. Великие вармали Глядена

В котле пыхтел талкан.

Русай деловито хлопотал возле костерка, подкидывая в него щепу и прочий сор. Вся поляна вокруг городища была истоптана, изрыта, замусорена. Там и тут кособочились шалаши и навесы, бугрились землянки, скрипели жердями щомы.

Одни жилища стояли подновленные, и в них обосновались надолго, в других, позаброшенных, полуразрушенных, вповалку спали люди. Их было намного больше, чем вчера.

Видать, прибыло ночью кочевье, или из городища выгнали тех, кто днем общался с духами. Второе было вернее — многим не

хватило мест в укрытиях, и они спали прямо на земле, не чувствуя холода, как пьяные.

— Ничего у них нет, дак, — буднично развел руками Русай, — все на Глядене оставили, все на «сопли» извели. Видать, некоторые боги шибко нужду терпят...

— А мы когда внутрь пойдём? Сейчас? Скоро? — едва продрав глаза, затрещал Боляк.

— Мнёшку ждем дак, — смиренно ответил Русай.

Мнёшка явился, когда солнце уже влезло на небесное камень и стало греть его так, что по земле пошел жар.

К тому времени большинство калик и пришлецов уже покинуло поляну. Вдруг появились из лесков, из дальних рощиц ездовые олени, будто кто их выгнал, и вмиг их разобрали по нартам. Оленей, впрочем, оказалось куда меньше, чем повозок, и часть их бросили. Боляк сперва удивился, почему так, куда делась олени, но распрашивать не стал.

А безоленные люди, кто уходил пешком через начинающиеся невдалеке поля, прямо по ломкому следу летних нарт, а кто, как вчерашние вотяки, с диким свистом уносился вниз к реке на незапряженных санях, словно детвора с ледяной горки.

От них шибало чем-то кислым, и Боляк вспомнил, что похожий запах, правда еле слышный, изветрившийся, исходил и от отца, когда он возвращался с Глядена. И если бы не эта забавная мелочь, можно было подумать, что вокруг обыкновенное торжище-ярмарка. Оттуда порой тоже кто уезжает без штанов, а кто и в двух штанах сразу.

Мальчишка от скуки задумал подобраться ближе к городищу, но из-за заросшего репьями вала появилась страшная, заостренная будто кол деревянная голова. Она крикнула что-то и кинула в Боляка камнем. Боляк сперва испугался, а затем, разозлившись, подобрал ломкий, увесистый ком, да и швырнул в ответ.

Деревянная голова с визгом скрылась в репьях.

Боляк подумал — вдруг это менкв, вдруг он побежал за подмогой. И тотчас забыл про менкву.

Обойдя всю местность от поляны с шалашами, до дороги к реке, заглянув с опаской

через росшие стеной молодые елочки в овраги, что шли от дороги слева, он поспешил к отцу.

— И это Гляден? — недоумевал Боляк.

Ведь хотя округа и была занятой, хоть и таилась, только сделай с тропки шаг, непонятная дичь, но и под горой Осиновая голова, что в их местах собирает для всей округи дожди и ветры, встречается немало странно. И что с того?

А других чудес здесь, похоже, не дожидаться, быстрее тронуться умом от скуки.

Поэтому когда послышался бодрый голос Мнёшки и во млеющем от жары воздухе отворились башенные ворота, будто отслоилась от пня кора, Боляк со всех ног припустил навстречу новому другу.

Мнёшка вел целую толпу. На бегу Боляку было не разглядеть, сколько в ней человек, все слилось, да и вал с кустами колол взгляд.

И только вблизи стало ясно, что это за шествие.

Его тоже заметили. Бежать назад было поздно. И спрятаться негде. Позади истоптанная людьми и оленями открытая поляна, и чтобы пересечь ее и укрыться в лесу, понадобилось бы полдня.

И Боляк встал на месте, замерев от страха. Напугал его не Мнёшка, хотя из-за головы того и росла новая, длинная как у цапли шея, а на ней болталась, как горшок на плетне, страшная, косматая голова. Не напугал его и лосеголовый, длиннорукий, тощий человек с посохом, что уже отодвигал Мнёшку, выходя вперед. Боляка такое, конечно, удивляло, но и только. А страшило то, что у человеколосья и Мнёшки за спинами. Там вихлялся и подпрыгивал тот самый менкв.

Боляк бы, наверное, завизжал и подпрыгнул сам, но на плечо ему легла рука Русая. Он подошел неслышно, и теперь стоял, спокойно и смиренно, будто большой виноватый ребенок.

Отвернувшись от отца, Боляк едва не столкнулся лицом с менквом. Тот успел подскокнуть и обнюхивал мальчишку. Боляк отпрянул. Отскочил и менкв.

— Он! — заорал менкв вполне человеческим голосом, вытягивая из деревянно-

го тела вполне человеческую руку. — Он в меня оленьей жженкой кинул.

Собравшиеся похохатывали, а Боляку было не до смеха.

— Башка мой уй больно попал, — проголо-сил мёнkv, и отделил от тела заостренную, как острожное бревно, голову.

И оказался обыкновенным стариком. Худым, грязным, с длинными, слипшимися в колтуны седыми волосами.

Его заостренная голова была лишь берестяным колпаком в виде высокого шишака.

Из него торчали щучьи кости, в щелях шуршали сухие рыбы хвосты, низ украшали пронизки в виде утиных лап и бляшек, напоминавших рыбью чешую.

— Он! — продолжал орать полустарик-полуменkv, отерев со лба пот и опять напялив колпак. — Шибко шалит, высечь, высечь!

— Я думал, ты менkv! — крикнул Боляк.

Ему стало страшно, что толпа бросится на него и, чего доброго, и впрямь начнет сечь. А против такой толпы ему несдобровать, даже если Русай придет на подмогу!

— Я? Менkv?! — заорала берестяная башка, и давай долбить себя в деревянную грудь так, что она загудела бубном. А с деревянного тела посыпались серебряные блохи.

Но ярость старика всех только развеселила.

— Я — васьёдвармаль!

Боляку стало еще страшнее.

Ничего себе, васьёдвармаль, один из главных гляденовских памов! А он в него костью...

Но изгоняя страх, пришла обида, а следом и злость. На то, что все в мире несправедливо, что за все тебя ждет наказание, даже если ты ни в чем не виноват.

И Боляк крикнул, давая обиду:

— А зачем ты в репьях прятался, и камнями швырялся?

— Высечь! Высечь! — бушевал васьёдвармаль.

— Ай, Кусяпа, — вышел вперед Русай, скидывая с плеча хиир, — из-за кустов твой берестяной башка с мёнkvом спутать можно. Мёнkv и проделки такие любит, тем более.

Он уже нашаривал рукой в мешке:

— Гляди-ка, васьёдвармаль Кусяпа, какая связка лисьих хвостов! А ты ее возьми, да

продень в раструб колпака, чтобы они торчали и на ветру веяли, как башкирский бунчук. Тогда тебя издалека не только в репьях, в лубой чаще заметят. Это ли не почет!

С Русаем многие согласились. Кто говорил, что такое подношение угодно богам, другие заверяли, что подарок достоин васьёдвармалья. А тот уже и сам прилаживал хвосты на берестяной колпак.

Теперь было видно, что туловище у шамана не деревянное — просто на него вместо одежды была надета деревянная, выдолбленная изнутри, как улей, колода. Из верхней ее части торчала голова Кусяпы, из нижней ноги, по бокам были две дыры для рук. А серебряные блохи оказались крохотными ножичками и топорками, какими прикалывали к стенам городища кожаные лоскуты с тамгами.

А человеколось куда-то, Боляк не заметил куда, дел лосиную голову. Теперь у него была обычная человеческая, седая, короткостриженная, безбородая голова с ледяными, серыми глазами. Ими он и смотрел то на Боляка, то на отцовый мешок с рухлядью. И если на Боляка он взирал строго, то на мешок — хищно.

Затем были слова и прыжки, вскрики и ужимки, притопывания, похлопывания и много чего еще. Наверное, так здесь заведено высказывать уважение — говорить не по разу одни и те же странные слова, вертеться, мести землю метлой с оплетенными нитками прутьями, падать на нее и вставать, выкрикивать имена богов, снова падать и кататься по земле.

Боляку это нравилось, потому что походило на игру. Но и Русай не отставал. А больше всех усердствовал старик-васьёдвармаль Кусяпа. Только он еще и бил колотушкой в подвешенный к низу колоды бубен.

Бледные, синюшные пермяки, что молча стояли в стороне с корчагами в руках, не принимали в этом действе участия, но тряслись так, будто земля ходит ходуном.

Боляк подумал было, что это от того, что корчаги очень тяжелые, и все хотел улучшить миг и попросить Мнёшку, чтобы он позволил пермякам опустить их на землю.

Ведь Мнёшка, видать, был здесь одним из главных людей.

Он старательно кривлялся, выбрасывал вперед, будто цапля, длинные, худые ноги, поводил плечами, выпячивал грудь, как настоящая птица.

К тому же он не валялся на земле вместе со всеми — ему бы это не позволил сделать ни шест со страшной головой, ни поперечина, продетая под рубаху за спиной так, что торчала в стороны, будто ободранные крылья. Тем более ему некуда было положить лосиную голову.

Ведь именно Мнёшка снимал ее с важного, покрытого шкурой шамана, а затем надевал обратно.

И Боляк догадался — это же сам тальвивармаль — шаман, ведающий духами части наземного и всего воздушного мира! Крепчайший, величайший шаман.

Зовут его, как он успел запомнить из вчерашних разговоров — Йынкарапа. И уж коли Мнёшка приставлен снимать и надевать вармалю его важнейшую принадлежность, значит он непростой человек.

Итак, сейчас здесь были главные шаманы Глядена: тальвивармаль Йынкарапа — связующая нить, путь к богам земным и богам надземным, тем, что живут на высшей, небесной тверди; васьёдвармаль Кусяпа, посредник между богами воды небесной и воды земной, и подьёвармаль Мнёшка — шаман, напрямую с духами не общающийся, но делающий так, чтобы у других вармалей для этого все было. Не хватало лишь ванквармарля, но он не мог присутствовать по уважительной причине, ибо умер.

Впрочем, как ему ни хотелось, Боляк все же взглянул вверх, на страшную голову, что болталась на шесте над Мнёшкой.

И догадался, ванквармарль тоже здесь, присматривает из этой самой головы.

На шесте над Мнёшкой торчала бобровая, уже начавшая тухнуть, башка. В ее глазницах торчали комья оленьей шерсти, мох, земля, рыбы кишки. Все это смердело, текло и капало прямо на Мнёшку, но он не обращал на это внимания.

Почему это ванквармарль приглядывает за ними из башки, Боляк объяснить не сумел, просто решил, что так оно и есть.

Ну а коли так, значит встречают их с отцом с особыми почестями!

И то! Русай едва успевал запускать в хиир руку, вытаскивать шкурки и одаривать ими по очереди Йынкарапу, затем Кусяпу, а потом и Мнёшку.

Впрочем, дары Мнёшке споро перехватывал вармаль Йинка. И тут же ловко прятал за пазухой. Один раз он отвлекся, и Мнёшка тотчас затолкал связку белчих шкурок себе в штаны. Один хвостик остался торчать наружу игривой опушкой, и Боляк едва не прыснул со смеха. Но сдержал себя, все же он не ребенок и занят сейчас наиважнейшим делом — готовится к общению с богами на самом Глядене.

А посуда в руках у пермяков уже не просто ходила ходуном, она плясала.

Наконец вармали закончили обряд. Засунув Русаю и Боляку за шиворот пучки травы, (Боляк заметил, что отцу Кусяпа сунул обычную траву, а ему крапиву), вармали объявили, что остяки из далекого Карьева павыля готовы быть удостоенными ответа богов — можно ли войти им в городище.

— Что ж, — заявил Йынкарапа. — Спросим!

Он подозвал пермяков с корчагой. Под крышкой бродила странная, вонючая, жидкая квашня. Она вздувалась белыми пузырями, в которых кусками мелькало красное, бурое, серое крошево. Пахло от квашни чем-то кислым и прелым. И Боляк догадался — это те самые лосиные сопли, дар Урталя!

Мнёшка подал ковшечек, и Йинка зачерпнул. Выпив до дна, он повеселел, глаза засияли, а из груди вармалей стали выходить странные звуки. Затем пама затрясло, словно он продрог под дождем, хотя погода была жаркая.

За тальвивармалем приложился к соплям и васьёд Кусяпа. Затем настал черед Мнёшки, а после пришла пора и Русая.

Но ему не предложили ковшечка, и пить пришлось через край. Русай, потирая руки и раздувая ноздри, встал на колени, ибо к тому моменту пермяки уже еле держали огромную корчагу. Пить через край было нелегко, лосиные сопли выплескивались, крошево валилось на землю, да и корчага ходила ходуном, окатывая питьем грудь Русая.

Русай все пил и пил, и вид при этом имел неопрятный, неряшливый, жалкий. Боляк хотел предложить отцу воды из бурдюка, но Мнёшка придержал паренька за плечо.

Наконец Русай напился. Он еле встал с колен, в мокрой рубахе, в заляпанных брызгами штанах, с потным лбом, всклокоченными волосами. Вид его был жалок, голубые глаза поблекли, но тускло светились счастьем.

— Эй, Боляк-человек, твоя очередь, — махнул он рукой.

Соплей к тому моменту оставалось едва на доньшке, а по глубоким стенам бадьи шли пузыри потеков.

Боляк представил, что ему нужно засунуть в корчагу голову, чтобы сделать один глоток, и его замутило. К такому он был не готов.

На помощь пришел Кусяпа. Он ковшиком собрал остатки лосиных соплей из корчаги, подумал, окунул в ковш палец и мазнул Боляку по губам. Остальное допил.

Боляку ожгло губы, будто он поцеловал головешку из костра, а потом зашумело в голове, и стало весело. Это было не буйное веселье, а какая-то тихая радость.

Но не та радость, что заполняет человека, когда он усаживается после целого дня на зимнем воздухе в тепле щома у жаркого огня. Это была радость, что стояла в голове, но не разливалась по телу, будто кто-то ее закупорил. И еще эта радость не давала сообщать.

Ну и ладно, решил Боляк.

А тальвивармаль Йынкарапа заявил, что услышал, как боги земли и неба дозволили Русаю и Боляку войти в городище.

— Уй, хорошо! — обрадовался Боляк.

— Боги воды земной и небесной говорят то же самое, — заявил васьёдвармаль Кусяпа.

— Хох, еще бы! — ликовал Боляк.

Но радоваться было рано.

Затем вармаль Йынка сообщил, что хоть подьёвармаль Мнёшка и служит сейчас глазами ванквармарля Еширки, и глаза эти смотрят из подземного мира, но слышать, что говорят боги этого мира, Мнёшка не может.

— Ой, что же делать, — радостно подергиваясь и огорченно морщась, спросил Русай. — Сколько времени мы землю топтали, по зем-

ле грохотали, неужто Еширка нас не впустит? Он так меня любит!

— Нужно делать обход городища, — заявил Йынкарапа. — Везде, повсюду землю топтать, грохотать, чтобы Еширка дал знак. Видать услышал он, да не увидел только. — Йынкарапа вздел палец на брововую башку, что торчала на шесте за спиной у Мнёшки.

Все задрали головы. Из глаз бобра сыпалась труха, как из гнилого, никчемного пня.

А Боляку и вовсе показалось, что солнце будто усохло и летает вокруг брововой головы назойливой мухой, разбрызгивая не лучи, а плевки.

— Есть у тебя, остяк, брововые шкурки? Брововые нужны, духи подземные, дак! Бобр, это подземный пес, только он может сказать Еширке, что вы здесь, — настаивал вармаль.

Развеселый Русай охотно запустил руку в хиир.

А Боляку подумалось, как может ванкварвармаль их увидеть, если у брововой башки вместо глаз трухлявый мох? Видать, это особый мох!

Получив брововую шкурку, Йынкарапа щелкнул пальцами и припустил к тропке между валом и стеной городища. А сопленосы бросили посудину на землю, встали на четвереньки, и с визгом и урчанием, будто свиньи, стали лакать из нее остатки жгучего питья.

Голова одного не помещалась над корчагой, и он, жалобно скуля, ползал вокруг, тычась под животы товарищей как теленок под мамку и пытаясь дотянуться языком хотя бы до рассыпанного по земле грибного крошева.

При обходе городища выяснилось, что кожанные лоскуты с родовыми тамгами остались в лодке. И за ними отрядили Боляка.

Дорогу он помнил, да и тропа вела. Благо был он на ней не один. То пролетали вниз на безоленных санях опойцы, то снизу толкали в гору такие же сани, но уже груженные ломким бутовым камнем. Видать, собирались поправлять основание башен городища.

Встречались и просто люди себе на уме, как Боляк. Кто шел на ходулях, кто своими ногами, а кто и на руках, вниз головой.

Боляк весело топал по тропе, то глядя под ноги и думая — вот бы и ему боги дали ловкости ходить на руках, то разглядывая верхушки деревьев и вновь дивясь тому, какие они огромные.

Казалось, деревья росли здесь от сотворения мира, и никто их никогда не рубил. Стволы раскидистых сосен и еристых елей дотягивались до неба, и ласково гладили его, будто живот перышком. И облака, летевшие высоко-высоко, подсакивали над священным лесом. Глядена еще выше, словно от щекотки. И все равно цеплялись за верхушки деревьев.

Засмотревшись на небо, Боляк споткнулся, как ему показалось, ровно на том месте, где и вчера.

«Эх, зря я на Мнёшку подумал, — сокрушался Боляк, разглядывая торчащую из земли корягу. — Как о такую не споткнуться? И почему я ее вчера не заметил?!»

Боляк обошел длинную корягу боком, не отрывая взгляда, чтобы, чего доброго, не зацепиться за ее охвостье. И тут же споткнулся о такую же, вылезшую с другой стороны тропы. Корни, будто живые, тянулись к нему, словно хотели уцепить пальцами за щиколотки и стащить с тропы, в заросшие колючим подростом овраги.

— Мнёшка хороший, — решил Боляк, подпрыгнул, плюнул по сторонам, пустил, поднатужившись, ветры, чтобы разогнать морок, и зарекся глядеть вверх. А то, чего доброго, и без коряг слетишь в овраг кубарем и поминай как звали.

Он шел и шел шумящим, шелестящим, шепчущим лесом, не задирая головы, глядя перед собой на утопанную тропку, тщательно обходя камни, корни, ветки. И только подумал было, что должен же где-то быть поворот, как сверху раздался густой, громкий, пугающий голос:

— Ма-а-лец!

Подняв глаза, Боляк испугался еще больше — с топором в заскорузлых ручищах над ним высился давешний страшный русский старик с лицом, будто собранным из расколотых плах.

— Ма-а-лец! — словно настигший жертву зверь, протяжно проревел он еще раз.

Боляк сидел на колоде для колки дров, куда усадил его Ярко, и не смел пикнуть. Веселье, что настало после лосиных соплей, испарилось, но и первый страх прошел. Страшный знакомец не делал ничего худого, но все равно от страха Боляк не мог пошевелиться.

А Ярко куда-то ушел воткнув в колоду колун.

Мальчишка попытался поддеть склюд за топорище, да куда там!

«Впрочем, — решил Боляк, — хотел бы страшный русский его зарубить и съесть, сделал бы это не мешкая».

Ну а коли Боляк до сих пор жив, может и обойдется.

А Ярко явился откуда-то из-под земли, разом выскочив из нее по пояс, с берестяным ковшом в руках:

— Что, малец, в горле пересохло? На вот, пей воду-то.

Боляк осторожно взял ковш и хотел было отхлебнуть, как вдруг увидел, что ковш-то простой, безо всякого оберега. А остяки из такой посуды не пьют, ведь неведомо какие там могут быть затворены духи.

Он замотал головой и протянул ковш обратно. Ярко нахмурился, и его брови, будто две моховые болотные кочки, грозно поползли к вдавленной, словно ловчая яма, переносице.

Боляк хотел было объяснить, что его отказ совсем не означает дерзость, но слова так и не выходили.

Старик усмехнулся:

— Что, дикое ты дитя, оберега нету? А мне он и не нужен! Я человек хрещонный. В этот ковш пускай хоть сто ваших духов залезет, да хоть и сама икотка — чё мне? Я ковшик захрещу, и никакой в ем пакости.

Боляк недоверчиво молчал. Даже такого великана свалит сотня жидкосильных духов-мухляшек, если выпить их с водой из ковша.

Ярко продолжал:

— Ну а коли забыл воду-ту покрестить, и отхлебнул, так оставь воды на доньшке да загляни туда. Увидишь сотражение, дак тут и говори, уже себя крестя: боже, спаси меня

грешного! Оно и пронесет. Ведь все мы лишь подобия божии, все его сотражения.

«Какой же это бог, если Ярко лишь его отражение?» — подумал Боляк, встал с колоды и осторожно протянул старику руки ковшиком. Тот лишь вздохнул и плеснул в них воды.

Напившись, мальчишка глянул в ладони. А ну и вправду там бог?! В дрожащей воде отражалось синее небо и верхушки сосен.

Несмотря на жуткий вид, старик был дружелюбен. Молчать, когда спрашивают старшие, было невежливо, и вскоре Боляк выболтал, кто он и зачем идет на берег.

— А! Дак бежи тогда! — хлопнул ладонями по коленям Ярко, будто ухнул молотом по наковальне. — А допрежь берега проведай, как там работнички мои брёвны в гору тянут. Не зашиблись ли. Работнички-то у меня не шибко баскущие... На скрип, слышишь, на скрип бежи...

Последние слова донеслись уже в спину Боляку, припустившему прочь со всех ног.

Ослушаться старика он не посмел, и перед заворотом скакнул на еле заметную в густом орляке тропку.

Вскоре она вывела на широкий прогал, бегущий по крутому, заросшему чапыжником склону.

Раздавался скрип. Он шел из-за кучи бревен, что высились горой в этом заповедном, не знающем топора лесу.

Но скрип был не от пилы. Обогнув бревна, Боляк увидал большой деревянный ворот, который вращали, уперевшись руками и плечами в толстенные перекладины, три изможденных человека. На ворот они наматывали пеньковую сакму. Другим концом веревка обвязывала мокрые бревна, а они скользили по двум жердинам, идущим от берега вверх по горе.

Именно эти жерди видел вчера Боляк. Бревна снизу подпирала и подталкивали еще трое таких же грязных, бедолажных, чумных, голых по пояс оборванца. Они отчаянно, из последних сил, упирались в скользкую землю сбитыми, продранными поршнями. Поршни скользили, ноги разъезжались, и мужики тужились из последних сил.

Вены на шеях вздулись, будто ручки по весне, перекошенные лица покрыла сеть кровавых прожилок, раскосые, цвета осеннего мха глаза, выдающие в мужиках пермачью кровь, выпучились, будто хотели покинуть голову, но бедняги упорно толкали груз.

И то — отпусти его хоть на миг, дай хоть чуточку передышки — бревнам бы ни за что не удержаться, и драная, узловатая сакма, которой через ворот им помогали сверху, вряд ли кого бы спасла.

Воротясь на тропу, Боляк услышал гоготание. До берега оставался еще поворот, затем спуск по ступеням, в общем, еще изрядно, но Боляк в три прыжка очутился у лодки.

И вовремя. Как он мог забыть про гуся!

Трое шальных, пьяных мужиков, по виду такие же бедолаги, как и те, что тянули бревна, тыкали палкой в клетку с гусем.

Клетка стояла в лодке Русая, и пришлецы, хоть и были пьяны, признаком чего был густой, отгоняющий гнус запах кумышки, на чужое не зарились.

Другое дело, если как-нибудь скovyрнуть у решетки прутья, чтобы гусь выбрался наружу. Тогда он ничей, лови — не хочу! Это пьянчуги и пытались сделать.

— Эй, вы! — смело крикнул Боляк. — Ну-ка отойдите!

— Ой! А ты кто такой? — ощерился один из мужиков, поочередно упирая руки в бока, а затем раскидывая их по сторонам.

— Это моя лодка!

— Что-то маловата лодка для такого великана, как ты, — криво улыбнулся второй. Третий стоял рядом и лишь чесал голову.

— Лодка Русая-остяка, а я его старший сын Боляк!

Мужики, а здесь был и зырянин, и пермач, и вотяк, принялись заверять, что чужое — это святое и на гуся они нисколько не зарились. Так, забавлялись.

Боляк, косясь, орудовал в лодке, выискивая тамги.

— Эй, Боляк Русаев, — спросил вотяк, тот самый, что больше всего глумился над гусем. — Зачем вам птица?

— Подарок дак, — неохотно буркнул мальчишка.

– Чей? – не отставал вотяк.
– Вогула Копчика, друга моего. Копчика знаешь?

– Кто же не знает Копчика, – зацокал языком вотяк. – Копчик сильный зверолов, он медведей знаешь добыл сколько.

– Знаю!

– Всё-то ты знаешь. А только того не знаешь, что Копчик гуся неправильно вам подарил. На Глядене птиц в жертву не приносят.

Вотяк вздел узловатый, желтый палец вверх, будто хотел ткнуть в небо, мол, подтверди.

Болях усмехнулся.

– Верно тебе говорю, – вкрадчиво улещал вотяк. – Думаешь обманываю? Щемяга не обманщик, Щемяга чтит богов.

Его товарищи кивали головами.

– Вйомыль чем жив на небе? Людскими душами, так? – продолжал Щемяга. – Он посылает за ними черную птицу. Знаешь такую приметку – летает большая черная птица, значит кто-то умер?

– Так вроде, – неуверенно согласился Боляк.

Он мало знал про богов, ведь был на Глядене впервые. А в павыле ему мало что рассказывали. Ведь детям не все принято говорить. Но с чего бы Щемяге обманывать?!

– Так-так, – закивали пермяк с зырянном. – И по нашей вере так. Роды разные, люди разные, Гляден один.

– Поэтому если глядене убивают птицу, Вйомыль требует за нее душу. И потому рядом с костями птицы на жертвенник кладут и человечьи кости.

– Ну? – Боляк выпучил глаза. – Врешь! Людские жертвы?

Мужички принялись заверять, что бывало и такое.

Один из них, зырянин, которого другие называли Кудькой, расписывал жертвоприношение особо красочно, будто видал его каждый день.

– Нечасто, конечно, но коли птицу забили – куда деваться, дай-полай? – закончил рассказ Кудька. – Надо положить человечью жертву, мальчика обычно. Но если нету маль-

чика, то и взрослого можно. Но зачем взрослого, если есть ребенок, дай-полай...

Боляку стало жутко. Неужели это правда?! Но как Копчик мог его обмануть?

– Врете вы все, – заявил он. – Вогул не мог обмануть. Он мой друг!

– Он и не обманул, – возразил Кудька. – Он просто не знал.

– Как не знал?

– Очень просто! Гляден – остяцкое, пермяцкое, вотяцкое, зырянское святилище. Маленько черемисское. Маленько башкорт. Который башкорт старым богам молится.

А у вогулов по-другому. Вогул чтит Гляден, но сам давно сюда не ездит. Да и остяк не всякий. Их главные боги теперь на камне и за камнем – на Васюгане и Конде, в стылых водах, обращающих всё во льды...

– Хох! – возразил Боляк. – Ты-то откуда знаешь?!

– Это все знают, – с насмешкой ответил вместо Кудьки Щемяга.

Кудька продолжил:

– Там укрыта золотая баба Санке-Саринат, там звенящие медные истуканы, что в давние времена отвоевали у чуди вогулы.

После той войны чудь потеряла силу и стала простым народом. А затем русский бог вогнал чудь в землю.

Но чудь он свел с земли, а другие народы маленько нет. Боги помогли, дай-полай! Гляденовские боги смогли прижиться в новом мире, а чудские боги – нет. Маленько не ужились они с русским Исяем да итильским Аллаем. А наши ничего, терпят пока.

Кудька говорил убедительно, хоть и был пьяненький.

«Раз так, угрозы гусю нет, – подумал Боляк. – И мужички эти клетку не со зла рушили. Они добра желали, не хотели, чтобы кто-то по ошибке и незнанию принес жертву Вйомылю».

– Гусь в жертву не пойдет, – заявил Боляк. – Только выпускать его нельзя, у него крыло больное. Сразу его задерут лисица или хорек. Потому и держу в клетке.

– Так и не надо отпускать, – усмехнулся Щемяга и хлопнул по плечу третьего, кургузого пермяка. – Да, Истома?

Тот лишь шмыгнул носом и растянул губы в подобие улыбки. И Боляк понял, почему Истома всегда молчит – зубов у него не было.

– А ты птицу нам отдай, – предложил Кудька. – А мы тебя кумышкой угостим.

– Зачем вам птица?

– А мы иж него жир вытопим и будем тем жиром жерди смажывать, по которым бревна наверх ташкаем, – как на духу простодушно заявил молчавший до того Истома.

И Боляк все понял.

Понял и Щемяга, и отвесил ИстOME подзатыльник так, что с того слетела шапка.

– В Трифоновой яме гуся придушим, – вкрадчиво шептал Щемяга, подходя все ближе к Боляку.

Боляк пятился, но вотьяк не отставал.

– Над Трифоновой ямой Гляден не властен. Вйомылю за ней догляда нету, там русский бог Исяя закрещенье держит...

Боляк стоял у самого уреза воды, прижимая к груди клетку с гусем. Еще шаг назад, и он свалится в воду...

– Вот мы туда залезем, в яму-то, вместе с гусиком-то, – продолжал вотьяк. – Там его и сварим... – и вдруг вцепился обеими руками в клетку.

Силы были неравны, но Боляк держал что есть сил. Щемяга одолел бы его, не пей так много кумышки. Но вотьяка разморило. А может быть, он хотел позабавиться и мотал клетку из стороны в сторону, глядя, как вслед за ней мотается и Боляк.

На подмогу ему, шатаясь, спешили товарищи.

Вцепившись в клетку, Кудька и Истома потянули каждый в свою сторону. Клетка затрещала, поддалась, разъехалась и разлетелась. Пьяные древоноши повалились кто куда, гусь с громким гоготом вылетел прочь, попытался взлететь, но упал на землю и завертелся, волоча большое крыло. А Боляк остался на ногах, хоть и забрел по колено в воду.

Спустя миг он, сгребя гуся в охапку, хлюпая набравшими воду поршнями, уже улепетывал вверх по склону. Где-то там, у стен городища, его заждался отец, а уж он точно не даст Боляка в обиду.

– Дай-полай, стой, догоню! – раздавалось снизу.

– И мне отрада, и птице приволье. Поживет, нисколь не стеснит! – тепло приговаривал великан Ярko, трепетно держа в огромной ручище гусиное крыло и нанося на него густой, пахучий взвар.

Боляк сидел на той же колоде для рубки дров и держал на руках присмирившего гуся. Тот тихо гоготал и косил в сторону круглым глазом.

Туда же поглядывал и Боляк. Там, водрузив бревно на козлы, возились с пилой те самые древоноши. Под хмельком пилить у них получалось плохо. Но стыд, а может и страх, не давал им работать спустя рукава.

Этих бедолаг, пинками и тычками, пригнал сюда Ярko, завидев, как по склону, не разбирая дороги, через завалы, чапыжник и крапивные заросли, спотыкаясь и оскальзываясь, бежит Боляк.

– Вы у меня до зимы здесь урочить будете! Уж я вам урок нарежу! И пока не выполните, кытпосей не ждите! – грозил Ярko мужикам.

Те, опустив головы, стояли перед ним, будто нашкодившая ребятня.

– А ты этих опойц не бойся, чуть что – мне говори! – прикрикнул Ярko и на Боляка.

Пока Ярko управлялся с гусем и поил вымокшего в лесной траве Боляка отваром, явно соскучившись по обычному людскому разговору, старик многое поведал о порядках на Глядене.

На святилище нельзя было не только убивать птиц, но и рубить деревья. А деревья для самых разных нужд требовалось много.

Но Гляден благословлял не только поднявшихся на гору. Всякий проплывающий вниз по Каме вез с собой бревно – такова была молчаливая плата, таково было подношение Камы гляденовским богам.

Да и как иначе, если впереди грозные итильские разливы?

Плотогоны, гнавшие лес на Итиль, отцепляли от плота несколько бревен и толкали их в сторону багорщиков – таких же опойц, как Щемяга, Кудька, и Истома, что, на такой случай, караулили у устья Тытьвы круглыми сутками.

Оплывающие смолой громадные беляны сваливали бревна прямо с верхотуры.

Путники, такие как Боляк с отцом, везли бревна с собой, до самого подножья горы.

На правом берегу Камы, у курьи, там, где подступали к берегу бескрайние сосновые боры, завели себе доходный промысел наезжие с Тюя и Таныпа мишари.

То, что их богом был татарский Аллай, нисколько не мешало заработку мишарей на богах Глядена. Они заготавливали бревна и продавали их, кому одно, кому два, специально для подношения.

Даже громадные соляные барки завели обычай — для них мишари рубили особые крохотные плотки, и солевозы с преогромным гонором, больше от благодущия и ради пышного шика, нежели по нуждейке, проходя мимо устья, толкали багорщикам бревенчатый плотик. А на нем — мешок соли в три пуда весом и плошка со свечой.

Гляденовскую соль — особую, скрасна, смешанную с землей, добытой окрест святилищ, почитали за целебную. Ей лечили животы, с помощью нее памы по дальним павылям изгоняли из новорожденных дурь и блажь, чтобы те росли спокойными.

Соль доставляли в святилище на плечах особые соленосы. Их можно было узнать по распухшим, красным шеям и ушам. Солью заведовал Мнёшка, а лесом — Ярко. Бревна попадали к Ярко по жердям-полозьям с помощью воротка, пеньковой сакмы и опойц-древonoш, куда же без них.

И в соленосы, и в древноноши все попадали одинаково: приехав поклониться богам на Гляден из самых разных мест, падкие до лосиных соплей люди быстро пропивали все, что припасли для подношения богам.

И не дождавшись их милости, попадали в руки ворожцов — странных людей, живущих вместе с памами в городище и общающихся с сонмом мелких духов. Сами вармали до разговоров с ворожцами никогда не опускались, но и ни в чем им не мешали.

У ворожцов всегда была кумышка, и довольно скоро, под ее подношения да мелкие чудеса, типа врачевания зубов и чесоточной хвори, эти, как их назвал Ярко, прохвосты вы-

тягивали у простодушных путников все, что оставалось, вплоть до одежды и припасов на обратный путь.

— А без малого кытпося — печати-одобрения, что выдают вармали на целый год, как вернуться домой! Что сказать семье, роду? Как прожить зиму? Как идти на охоту? Как вообще не сгинуть! — рассудил Боляк, а вслух спросил:

— Ты даешь им кытпось?

— Я же не вармаль продуханенный, прости меня господи, — Ярко размашисто перекрестился. — Но слово мое перед вармалями крепкое. Если отработал — получишь кытпось. Каждому по вере его, а мне бы свои грехи отмолить.

С пустыми руками возвращался Боляк к святилищу, думал невеселую думу, и тужил, что в первый же полный день на Глядене так оплошал.

Что скажут вармали, как посмотрит Мнёшка? А отец!

Ох, поди улыбнется одними глазами, качнет головой и скажет:

— Нать-то, Боляк-человек, не совсем пока большой маленько вырос ты, тем более!

Но до Боляка никому не было дела. Отец, Кусяпа и Йынкарапа сидели на старой, дражной, битой молью шкуре оленя прямо в проезде башни святилища.

Снаружи башню бутили работники, им неловко помогали прихлебыши-молчальники, те же опойцы, только давшие обет личной службой вармалям и молчанием заслужить кытпось. И от этого строительства всюду стоял невыносимый треск и раздавался ужасный грохот.

Но Русая и вармалей это не смущало. Здесь, в проезде, было прохладнее, чем на воздухе, выстоявшемся от последней, позднелетней жары.

Подле них валялась пустая баклага из-под лосиных соплей, вторая, уже ополовиненная, стояла посередине. Еще в одной плескалась кумышка. По всем троим было видно, что це-

лый день они с усердием предавались одному делу — пьянству.

Еще здесь было непонятное устройство — перевернутый еловый ствол, с нанизанными на сучки лосиными черепами. Кусяпа бил по этим черепам длинной костью, выстукивая гулкие, протяжные звуки, будто вдалеке раздавалась песня или завывал ветер в горшках на плетне.

Отстучав, Кусяпа совал кость в руки пьяному Русаю:

— Ну-ка, повтори!

Русай пытался в точности отстучать звуки, но у него не получалось. То кость вываливалась из рук, то она соскальзывала с черепов, и звук, вместо сильного и гулкого, превращался в шлепок.

А если Русаю удавалось сделать несколько точных, четких ударов, то он путал очередь, с которой нужно выстукивать звуки, отчего не выходило ничего путного, лишь бестолковый грохот.

— Ай, как так, — хлопал себя руками по деревянным бокам Кусяпа, — получалось ведь! До самой башни дошли, а дальше пройти не можем. Эх, пособилай нам боги не сдохнуть по дороге!

Он наливал Русаю ковшик кумышки, заставляя выпить и повторять снова.

— А ты меня так пусти, — улыбался ему пьяной улыбкой Русай.

— Так не могу, — серьезно, будто и не пьяный, отвечал Кусяпа. — Так, это как?

— Ну, не стучать чтобы, тем более.

— Если не стучать, подношения нужны. А шкурки у тебя в мешке кончились. Нечем задобрить богов, а ответа от Еширки мы так и не получили.

— Не получили... — клонил на грудь хмельную голову Русай.

— Твой сын-проказник опять шалит где-то.

— Он не прока... зник... — возражал Русай.

— А где он тогда? Быть может, его завел в чашу настоящий мёнкв...

— Это ты мёнкв...

— Он слетел кубарем с горы и рухнул в реку... — продолжал, не слушая, Кусяпа.

— В какую реку?

— Ту, где его сожрала итकाсть.

— Какая итकाсть? Водяная ведьма? Запрети ей жрать моего сына. Ты же васьёдвармаль, тем более.

— Запрещу. Но сперва тебе надо повторить звук поступи небесного лося Янгья. На, играй!

— А Янгый сожрет водяную ведьму?

Русай брал кость, и тут же ее ронял.

— Ай! — всплеснул руками Кусяпа. — Ну тебя, негодный остяк! Не можешь выбить поступь Янгья — тогда ночуй тут. Только не уходи из башни, а не то завтра придется начинать сызнова. А мы пойдем в святилище. Мы же памы, мы должны ночевать в святилище, да, ванквармаль Йынка?

Кусяпа взялся тормошить спящего пама, но тот вставать не хотел, лишь отвернулся и подложил под голову медвежью лапу.

— Мнёшка, пособи! — стал звать на помощь Кусяпа, и увидел Боляка.

Тот потупил глаза.

Кусяпа, не растерявшись, потребовал поднести ему кумышки.

— Совсем ослаб дак, когда оленьей жженкой по лбу получил, — жалобно проскулил он, принимая из рук мальчика ковш.

— Я не знал, что это ты, — как бычок выставил лоб Боляк.

И тут же получил по лбу колотушкой.

— А что ты знаешь? — усмехнулся Кусяпа. — Только то, что видишь и слышишь? А ты слышишь, как бежит вода в Тытьве? А почему она меняет направление течения? Может быть, ты понимаешь, что она шепчет? Или ощущаешь, каково это — жить, заключенным в деревянную колоду? Может, ты слышишь, как бежит любая влага? Как бежит большая река и крохотный ручеек, как легко пропускает через себя твое сердце кровь и как неохотно это делает мое сердце — будто дерево соки зимой. Может быть, ты знаешь, что я и есть дерево?! Дерево, и корнями и листвой тянущее влагу отовсюду — из земли, из воды, с неба!

— Ты все это чувствуешь? Как?! — увернул-ся Боляк от замаха колотушкой.

— А вот так! А кто же я, если не дерево?! — пьяно расхохотался Кусяпа.

— Если снять с тебя колпак и колоду, ты совсем не будешь похож на дерево, — усомнился мальчишка.

— Это только потому, что меня не срубить, как срубил Трифон священную ель, — всхлипнул Кусяпа, допивая кумышку. — Но каждый может швырнуть в меня оленьей жженкой.

Боляку было стыдно.

— А может быть ты, знаешь, каково это, когда все потоки — людские, лесные, земные, речные, небесные — сливаются воедино у тебя в голове? И умеешь понимать, и передавать людям, то, о чем они поют свою бурную песню?!

— И этого я не знаю, вармаль Кусяпа. Прости меня!

— Простить тебя лишь по твоим речам? Когда я слышу, как кипит твоя кровь, пэхи! У смиренных и раскаявшихся не закипают в груди все соки... Мнёшка, где ты!

Мнёшка появился откуда-то из репейных зарослей. То ли он там спал, то ли справлял нужду. Но и вдвоем они не смогли поднять отяжелевшего Йынкарапу, лишь усадили его, оперев спиной о стенку.

— Ой, что же делать? Сами опились, сил нет. А ведь мы должны ночевать в святилище, чтобы не потерять свою силу. Мы же вармали.

— Да, мы... вармали... — икнул Йынкарапа, и стал валиться на бок.

Боляк шагал к выходу из святилища в полной темноте. Небо заволочло тучами, ночь была беззвездной, и даже пакля луны не могла прожечь эту темную, тяжелую, будто холсткрашенка, завесу.

Ему ничего так и не удалось разглядеть. Впереди шел Мнёшка и время от времени тихонько отстукивал палкой, указывая, куда идти. Приоткрыв створ ворот и выпуская наружу Боляка, он притянул его к себе, и обдав кислым перегаром кумышки, наказал:

— Что был в городище без обряда, об этом никому ни слова, понял?

Ворота затворились. Неподалеку, прямо за валом, горел костер. Вновь приехавшие на Гяден обустроивались на ночлег, хлопотали, кашеварили, возились с оленями, шутили

и бранились. В каждом из них текла кровь, каждый из них сам был кровинкой, омывающей, опояющей землю.

До Боляка никому не было дела.

Русай спал у стены, свернувшись в клубок, прямо на голой земле. Боляк попробовал было поднять его, но не смог. Хотел позвать на помощь, но вспомнил наказ Кусяпы не покидать башни, и пошел в шалаш за медвежьей полстью.

Устраиваясь рядом с отцом, он услышал тихий свист, затем ворота приоткрылись, и из них тенью выскользнул Мнёшка.

— Ты бобровых шкурок почто не принес? — деловито осведомился он у Боляка, будто и не пил весь день.

— Вот как, — цыкнул зубом Мнёшка, узнав о приключениях Боляка. — Держись всегда при мне, и никто тебя не тронет. А то хочешь, продам тебе, за несколько шкурок, горсть покойных копеек.

— Что это? — удивился Боляк.

— А у ворожцов такие водятся. Когда хоронят покойника, на глаза ему кладут монетки. А ворожцы их потом из земли вытягивают не разрывая могилы, умеют они это. И продают, кому нужда есть.

— Зачем?

— Как зачем? Вот тебя три дурака обидели, хочешь их наказать?

Боляк вспомнил, как пристали к нему трое пьянчуг, как задурили Вьомылем, а затем хотели обмануть и самого Вьомыля, убив в Трифоновой яме священную птицу.

— Хочу! Хочу их наказать!

— Тихо-тихо, — запшикал Мнёшка. — Вот тебе и способ: кинь поутру в кумышку три покойных копейки, да дай этим дурням напиться.

— И что будет?

— Года не пройдет, как они сами в землю сойдут...

— Да ну!

— Конечно. В Гядене знаешь какая сила! И на всякое она применима.

17. Как разгоняют мрак

Едва зарделось солнце, объявился Мнёшка. В одной руке он держал глиняную крынку, а в другой берестяной ковш с подзакишшими лосиными соплями.

Русай, едва проснувшись, схватился было за голову и запричитал, но, завидев ковш, ободрился и одарил Мнёшку медовым забрусом.

Заполучив ковш, Русай отхлебнул и счастливо зажмурился. Затем сплюнул грибное крошево, отхлебнул из Мнёшкиной крынки, и снова припал к ковшу.

Ну а Мнёшка, по-товарищески взяв за локоток Боляка, поволоком того в сторону. По пути подёвармал весело болтал, будто были они на равных, как давние приятели.

Отойдя подальше от стойбища, Мнёшка отхлебнул из крынки и протянул ее Боляку:

— Оленье молоко. Свежее. Наутро после лосиных соплей очень бодрит. Будешь?

Боляк, понюхав, покачал головой. Ему и хотелось всем походить на Мнёшку, и быть с ним на одной ноге, но то ли обходительность, вдруг откуда-то проснувшаяся в нем, то ли осторожность, как у пасущегося на новом месте олешка, заставили отказаться. Да и не болела у него голова.

Мнёшка понимающе кивнул и, задрав голову сделал несколько добрых глотков.

— Ну как, Боляк, надумал про покойные копейки? — спросил он, громко отрыгнув.

Боляк невольно сжал кулаки и зубы, аж скрипнули скулы, до того хотелось ему накачать древонош-вралей.

Мнёшка это заметил:

— Дело верное! — подтвердил он.

— Знаешь, Мнёшка, мне страшный русин, аляб Ярко, обещал ярлык, с которым меня здесь больше никто не обидит..

— Кытпось, — закивал Мнёшка. — Ярлык — то же, что и кытпось. С ним никто не тронет. Мое дело предложить. Хотя я знал, что ты откажешься...

— Как? — выпучил глаза мальчишка.

— Ты где? На святилище! Кто здесь живет, многое знает, — подмигнул Мнёшка и, задрав голову допил молоко.

Он перевернул крынку, вытрясая из нее капли, а затем заулыбался во весь рот и вытаращил язык. На языке блестела покойная копейка.

— Ой, Мнёшка, — ужаснулся Боляк. — Теперь ты умрешь?!

— Я-то нет. Я же ее туда и подбросил. А покойные копейки не убивают хозяев.

— То есть... — до Боляка стало доходить. — Если бы я отхлебнул, я бы умер?

Мнёшка ухмылялся.

— Ну не умер же.

— А мой отец... Он же отхлебнул! — ужаснулся Боляк.

— Отхлебнул, но не шибко вроде, — ухмыльнулся Мнёшка.

— Он теперь умрет! — охнул Боляк, бросился на Мнёшку и начал колотить его что есть силы в грудь.

И хотя Мнёшка был едва не на две головы выше, от напора мальчишки он чуть не повалился.

— Да отвяжись, — возопил наконец Мнёшка. — Пошутил я. Копейка у меня во рту была. Не кидал я ее в крынку.

— Зачем тогда ты так сказал? — бросил махать руками Боляк.

Он успел ободрать кулаки и обломать ногти.

— Проверял, дак.

— Зачем проверял? Мы, остяки, никогда не обманываем, не делаем гадкого, а кто так поступает, кончает как отцовский друг Кочебахта...

— Кочебахта? Друг? То есть он все же друг?

— Бывший... друг...

Боляк попятился, а затем развернулся и побежал прочь.

— Бывших друзей не бывает, — крикнул вслед Мнёшка. — Друг — это судьба...

И начались странные дни. Со странными событиями и занятиями.

Русай переменялся. С виду это был все тот же отец, но вел себя необычно. Его голубые, ясные, живые глаза вдруг стали пустыми

и льдистыми, походка вихляющей, шаркающей, разболтанной, а поступки необъяснимыми.

Он будто утрачивал волю. Но при этом был суетливо-деятельным, откликался на любой призыв и держался на ногах. Правда, шел он не куда хотел, а куда звали.

И мысли его были не спутанными, и короткими. И эти короткие мысли следовали за Русаем, куда и он сам. А он ходил за вармалями.

Что ж, получить напутствие богов — дело непростое, решил Боляк. Надо чтить богов, и во всем положиться на них так же, как, на судьбу, так же, как на вармалей.

А что отец пьет лосиные сопля... Ну а как еще общаться с богами, разве тем же языком, что с людьми?

«Что ты знаешь, пэхи. И что ты слышишь, пэхи», — часто вспоминал Боляк укоризненные слова Кусяпы.

И уж если он не слышит видимой природы, как тогда говорить на равных с богами?!

Можно лишь святодейством, обрядами, лосиными соплями да грибным крошевом вылавливать из мира нити их посланий.

Как, бывает, вылавливают на удачу по осени из блескучей реки бесцветный волос Ихын-ири — первой женщины, превращенной в кикимору.

Едва Боляк отошел от того, как его чуть было не провели с покойными копейками, явились вармалей, а с ними и Мнёшка. Он вел себя как ни в чем не бывало.

Раскрасневшиеся, пахнущие кислой квашней вармалей заявили, что для вхождения в городище боги повелели Русаю и Боляку отправиться в путь из Карьева павыля и явиться на Гляден. Под присмотром и доглядом богов путь до горы был пройден.

Боляк еле сдержался, чтобы не засмеяться.

Такие важные, такие надменные — что Йинка, что Кусяпа, а говорят то, что и без них всем известно.

Но затем мальчишке стало не до смеха.

— Все это вармалей видели четко, но потом их обуяла некая тьма, — заявил Йинкарапа.

— Ух они и глядели в эту тьму, ух и тарасились! Затем шаманы кричали в тьму, звали из нее богов, и не получили ни отклика, ни слова. Тогда вармалей слушали тьму, но слышали лишь молчание.

«Вот как! Чтобы быть вармалем, нужно уметь слышать и молчание!» — подумал Боляк.

А следом вармалей заявили, что они посылали в тьму и шум — били в бубен.

И вармаль Кусяпа для пущей убедительности тут же бухнул костью-колотушкой в подвешенный к поясу бубен.

— Тьма не отозвалась и эхом, — развел руками Йинкарапа.

Эти известия страшно огорчили Русая:

— Выходит, мы зря приехали?

Тальвивармаль лишь пожал плечами.

— Получается, домой нам теперь ехать без благодати, как зверям тем более? — всплеснул руками Русай. — Эх, видать не поправил котел нам пути.

— Хотите, живите на горе. Стойбище большое, — разрешил Йинкарапа, вытирая пот под лосиной головой.

— Ай, беда! — схватился за голову Русай и завертелся на месте.

Боляку было жалко отца, жалко себя, обидно, что, приехав на Гляден, они не попали внутрь городища.

Но что он мог поделать? Видать, прав отец, не взрослый он пока маленько. Был бы взрослый, придумал как быть.

А Русай, накружившись, навалявшись в пыли, вскочил, хитро подмигнул Боляку и спросил Йинкарапу:

— С берега?

— Что «с берега»? — опешил вармаль.

— С берега тьма пошла?

Шаманы переглянулись.

— Маленько повыше, — неуверенно сказал Кусяпа.

— От Трифоновой ели? — уточнил Русай.

— Оттуда вроде...

Вармалей растерялись. Они словно ждали, что их сейчас будут упрашивать и умамливать,

ублажать подношениями и льстивыми словами. А теперь они не знали, что делать.

А Боляк знал. Ему показалось, что он слышит эту растерянность.

— Из-за гуся это дак, — решительно шагнул он вперед, так, что Кусяпа аж отпрыгнул.

И рассказал про вчерашний случай, про вотяка, остяка и зырянина, про то, как ему помог страшный русский аляб Ярko. Не утаил и про Мнёшку.

Мнёшка тотчас удостоился подзатыльников. Был охотен он и посохом, и костью-колотушкой, и осушенной к тому времени баклагой из-под лосиных соплей.

Посовещавшись, вармали решили, что нужно провести обряд вхождения в городище от Трифоновой ели.

Русай хитро смотрел на Боляка, и теперь уже мальчишка не удержался, чтобы не подмигнуть отцу.

Пока шли вниз, Кусяпа фыркал и недовольно бормотал, де взяли обычай, слушать всякого встречного-поперечного, и какое вообще может быть доверие словам мальчишки, смеющего кидать в вармаля жжеными костями.

Но проходя мимо владений Ярko, все убедились, что гусь существует. Птица важно, по-хозяйски, разгуливала рядом со стариком, куда бы тот ни шел.

Завидев шествие, гусь вытянул шею и зашипел. Но разглядев Боляка, радостно загоготал, вскидывая крылья.

Одно крыло все еще было ниже другого, но уже держалось на весу. И сама птица стала будто крепче и жирнее.

Хотя сейчас мальчишку больше занимало то, как по его слову все переменялось. И непроглядная, неотзывчивая, бесчувственная тьма, что, казалось, уже никогда не примет их на Глядене, оказалась не такой уж и бесконечной. Выходит, можно что-то сделать, если найти правильные слова. Видать, имеют они вес, его слова. Возраст это, поди!

Задумавшись, Боляк припустил под горку, и взял бы, пожалуй, такой разгон, что обогнал бы и все шествие, да отец, что топал вниз чуть шатающейся походкой объевшегося медведя, прихватил его за ворот:

— Со мной иди. Степеннее я хожу дак.

И когда бубен Кусяпы выдал череду глухих ударов и взвизгнули следом берестяные дудки в руках у молчалиников, сказал, дыша сквашенным перегаром:

— Молодец, пэхи, про гуся ловко придумал. Будто знал, что они хотят от нас услышать.

— Я ничего не знал... Я просто думал, что тьма уже никогда не отзовется...

— Она никогда и не отзывается, — хохотнул Русай.

Трифоновой елью уже давно называли пустое место.

То, что от нее осталось, когда-то было пнем. Рассказывали, что на этом огромном пне могли развернуться нарты с запряженным оленем. А саму ель, как слышал Боляк, Трифон затем год пережигал на угли.

Неизвестно, какой силы был этот Трифон, коли он смог срубить такое огромное дерево, а затем и выдрать пень из земли. Хотя в те времена люди могли многое. А затем стали мельчать.

Потому что боги прогневались на людей Глядена за то, что те проглядели, пустили Трифону. Они обратили гнев и на остяков, и на вогулов-манси, и на вотяков, и на зырян. И на татар маленько.

Сперва боги иссушили и истребили гляденовских князцов Йымбала и Зыгундяка, при ком на Гляден и заявился Трифон.

Но боги не смогли истребить их потомство. Хотя с той поры потомки князцов уже ничем не выделялись среди людей. Ни умом, ни красотой, ни ростом, ни статью.

С тех пор и не стало у людей Глядена князцов, остались лишь памы, власть которых больше зиждилась на почитании, чем на воле. И народцы разбрелись кто куда.

Но Гляден-то остался. Трифон пожил здесь какое-то время, в пещере, что осталась от вывороченного корня, а потом пошел дальше по земле.

Говорят, он прославился еще пуще там, где края земли завернуты, будто вотяцкая шаньга-

перепечь. А еще говорят, за те края человеку выбраться не по силам, там конец всего.

Впрочем, даже отсюда, с Глядена, не видать краев земли. Кто знает, может, и про Трифона врут?!

Сбегав к лодке за новым хииром со шкурами, Боляк вернулся к Трифоновой яме. И теперь, вместе со всеми, под бой бубна и визг берестяных дудок обходил ее кругом и, закатывая глаза шептал непонятные слова.

Впереди шел тальвивармаль Йинка. Он тоже закатывал глаза, тряс башкой, отчего звенели космы с вплетенными в них бляшками, брал из рук Боляка белчиьи шкурки и низывал их на торчащие вверх корневища.

Это были остатки пня Трифоновой ели, и по ним никак не угадывалось, насколько громадным был пень. И то, ведь прошло столетие!

Вармаль часто прикладывался к баклаге с лосиными соплями, давал приложиться и Кусяпе, и, изредка, Русаю. Шествие продолжалось, но, обходя пень, все растянулись. Боляк огляделся, и подумал, что, пока никто не видит, он успеет слазить внутрь ямы.

Яма напоминала воронку, красная земля ее стенок осыпалась, оплыла, но в дальнем конце еще виднелось небольшое отверстие — лаз в пещеру.

Еле удерживаясь на осыпи, Боляк подобрался к нему. Из лаза тянуло холодом и плесенью. Красные с прозеленью стенки пещеры пронизывали тонкие белесые корни, будто пещера обросла изнутри волосками. В вышине над ямой, свилеватая, будто натуго сплетенная коса, скрипела ель.

Видать весенние воды, снеготаяние, и летние дожди вымывали из под ее корней землю и обваливали в яму. Вскоре должна была повалиться и сама ель. И тогда ее корни вывернет наружу, как выворотил из земли пень священного дерева и сам Трифон.

Боляк стал выбираться.

— Разве такая мелкая яма впору такому великану, как этот Трифон? — рассуждал он вслух, выбираясь наверх.

И увидел, как невесть откуда взявшиеся давние знакомцы Истома, Щемяга и Кудька шли следом за шествием и сдирали развешанные на корнях шкурки.

— Зато тебе эта яма впору, — загородил обзор Мнёшка. И протянул руку.

Едва Боляк выскочил из ямы, как тут же получил в лоб колотушкой. А крутящийся в странном, рыскающем танце Кусяпа уже уносился прочь, словно взвив песчаного ветерка.

За ним летели искры из глаз Боляка, и самого его Мнёшка толкал следом, к утоптанной полянке.

Там Йинкарапа тряс воздетыми руками и трясся сам, не переставая качаться из стороны в сторону всем телом.

Его ступни были будто прибиты к земле коваными гвоздями, а тело раскачивалось, как ивовая ветка. Вслед этим движениям пытался вторить и Русай, но у него получалось плохо, и он просто мотался из стороны в сторону, косолапо переступая ногами.

Баклага из-под соплей стояла почти пустая, лишь на дне пузырилась гуща крошева.

Перестав качаться ровно в тот миг, когда Кусяпа прекратил кружиться, Йинка объявил, что подношения корням святой ели не до конца рассеяли тьму. И теперь нужно задобрить духов предков, чтобы они помогли развеять мрак.

Шаман забил в ладоши, ему тотчас завторил бубен, затрещали, заскрипели, закрихтели дудки, ухнули свистульки, и обход продолжился.

Теперь вармали возглавляли и замыкали шествие, а Русай плелся в середине. Ему было нехорошо, он явно перебрал с лосиными соплями.

Шествие свернуло в лес, к смоляным деревьям, растянулось, уползло за поворот. Мнёшка и Боляк шли рядом.

— Почему так все делается? — спросил его Боляк.

Ему и самому было плохо. Бой бубна выворачивал нутро, и казалось, что сейчас вытошнит.

— А как? Боги, дак, — пожал плечами Мнёшка.

— Это боги позволили Трифону срубить ель?

Мнёшка ничего не ответил, лишь усмехнулся.

— Может, их Трифон сжег вместе с деревом, оттого и тьма? — простодушно спросил Боляк.

— Сам ты тьма! — раздался позади голос Кусяпы.

Боляк обернулся и, уже по привычке, откинул назад голову. И вовремя. Колотушка просвистела у самого носа.

— Боги никуда не делись. И духи никуда не делись. Они переселились из священной ели в другие деревья.

Раньше сила была в одном дереве, теперь во многих. Потому она, ну как бы, не так уже действует. Больше подношений нужно!

По словам Кусяпы выходило, что боги и духи вселились в разные деревья на склонах Гляденовой горы. В какие — никто не знает. Поэтому на Глядене запрещено рубить любые деревья. А поклоняются им у остатков пня, как у жертвенника.

— А в смоляных деревьях исходят слезами души предков. Тех, что при земной жизни недостаточно чтит богов, — продолжил Кусяпа. — И поганая душа Боляка, если ее не сожрет мёнкв, без сомнения, поселится в одном из самых худых деревьев.

— Заточенные в деревьях души страдают, но сила их велика, — продолжил он. — Соединенная с силой духов, она должна помочь развеять тьму.

Кусяпа ударил в бубен и, столкнув Боляка с тропки, пошел вперед. Мнёшка двинул следом. За спиной у Боляка шли, будто крались, трое опойц — Щемяга, Кудька и Истома, и о чем-то шептались.

Боляк хотел сказать опойцам что-то обидное, навроде того, что их души не попадут даже в деревья, а только в кусты, на которые помочился заяц, но сдержался и лишь пригрозил кулаком.

Слова Кусяпы повторил и вармаль Йынка, когда все собрались на опушке. А затем спросил, помнит ли Русай, в каких деревьях заключены души его предков?

Русай к тому времени уже плохо стоял на ногах и лишь мотнул головой:

— Где тамги дак!

— Покажи свою тамгу.

— А вот вармаль Еширка знал, какая у меня тамга! Любил меня дак!

Русай, шатаясь, стал искать в мешке тамгу. Сперва он шарил там рукой, а затем пошел выдирать из мешка беличьих сорока, бобровые связки и куньи семерики. Но его утомило

и это, и тогда Русай просто высыпал содержимое хиира на землю.

Искрящиеся как огонь, переливчатые будто литая медная утварь, златопышашие и среброльдистые шкурки лежали на прелой земле, среди жухлых прошлогодних иголок, шишечной шелухи, палых листьев и прочего сора невероятной ослепительно красивой горой, будто был это сам Гляден над камскими берегами. А сверху струящимся лоском, словно древнее шаманское городище, сверкало и струилось наверхие соболинго сорока.

И все ахнули.

Тамга нашлась, ради этого пришлось перетряхнуть всю гору мехов. Этот маленький кусочек кожи с тиснением зацепился за зананку одной из шкур.

Пока искали тамгу, Боляк, глядевший со стороны, два раза поймал за руку молчальников, норовивших утащить по шкурке себе за пазуху. Поэтому когда его стали отправлять надрать бересты и осинового коры, чтобы размножить знак тамги — волнистую полосу и круг над ней — обозначающие реку и борть, он отказался.

Вармаль Йынкарапа усмехнулся, но отправил в рощу опойц. Зазевавшийся Кудька, получив по лбу колотушкой, припустил следом за Щемягой и Истмой:

— Стой, догоню!

А прихлебыши уже подтаскивали свежую баклагу лосиных соплей.

Вармаль Кусяпа, затерявшийся было среди деревьев, тотчас объявился. Выдув добрую половину ковша, он передал его Йынкарапе. Но тальвивармаль лишь приложился, и передал ковш Русаю. Того уговаривать не пришлось, и он шумно затынул через край питье вместе с крошевом. Следом ковш перешел к Боляку. Тот своротил нос.

— Пей, — потребовал Йынкарапа. — Души предков должны помочь разогнать тьму. Им нужно видеть тебя, видеть весь род. Пей!

Он держал ковш в вытянутой руке, и Боляк, чтобы не так шибало квашенкой, отступил на шаг назад.

И тогда у вармаля Кусяпы случился припадок. Он затрясся, упал на землю, стал кататься, валяться, бить себя через колпак по голове.

— Тьма! Тьма! Выпей мне глаза! — вопил он. Кусяпа плевал на землю, и тут же вытирал плевки лицом. Он обмочился, и сел в эту лужу. Его стошнило, и он запихивал блевотину обратно в себя.

— Смерть! Смерть! Слейся со мной, проведи сквозь тьму и выплесни на свет! Излейся! Извейся!

А потом Кусяпа, как ни в чём не бывало, встал. И снова медные топоры и серебряные ножички с его одежды-колоды, что рассыпались было по земле, неведомо как собрались обратно.

А он убежал в лес. В лесу Кусяпа носился от дерева к дереву, каждое обнимая, оглаживая, разговаривая с ними. На полянку он вернулся, встряхивая руками. С его ладоней застывшими каплями свисали густые потеки смолы.

— Это видишь? — тряс он перед лицом Боляка руками. — Если не слышишь стонов, если не слышишь воплей, хотя бы посмотри! Это слезы. Слезы твоих предков. Это загустевшая, каменеющая влага. Все воды мира не разбавят этих слез! Это не деревья, это души твоих предков источают смолу. Они вечно рыдают, но слезы их не достигают земли. Их слезы не испаряются в небеса, не вливаются в ручьи и реки. Мир не слышит их, мир не знает об этих слезах!

Боляку было больно. Как же так, его предки и отстояли мир в битве у Чочвокара, и они же заточены в деревьях. За что? В какое наказание?

А Кусяпа продолжал бусевать:

— Это кара! Кара за то, за то, что при жизни люди не чтити богов, не проявляли уважения к духам, не любили вармалей и памов. А еще эти слезы за тех, кто живет сейчас, и поступает так же. И так будет, пока не упадет дерево, в которое заключена душа.

Но и тут без вармаля не обойтись. Иначе душа предка обратится в бисьяку. А бисьяка только и делает, что живет на елке да жует иголки. Пойди его поймай...

Кусяпа встряхнул ладонями и стал отирать их о колпак-личину. И потеки смолы на этой страшной лубяной роже потекли, будто настоящие слезы.

Желтые капли текли из подглазья по трещинам коры, и Боляку показалось, что это рыдает вся земля и все, что на земле и в земле.

И как быть? Он же на Глядене, что он как мальчишка! Какой стыд, так упрямитесь, когда тебя просят старшие...

И мальчишка потянулся к ковшу...

Нацарапанную на бересте тамгу прикалывали к дереву маленьким медным топориком, взятым с колоды Кусяпы. Вместо него на колоду вешали беличью шкурку, и вскоре Кусяпа покрылся струящимся беличьим мехом, будто был он в богатой зимней шубе.

В довесок к тамге шла шкурка куницы, и уже на многих деревьях видна была грубая светлая береста тамги и нежная темная шерсть куницы.

Леса стало больше, и людей стало больше, и все они — отец, вармали, молчалники, опойцы, выросли, возвысились, а Боляк, наоборот, стал маленьким-маленьким.

Но возле него, такого крохотного, сейчас вращался огромный и цветной мир.

В нем слились люди — чужие и свои, живые и мертвые, те, что здесь, и те, что далеко. Люди легко проходили сквозь деревья, а деревья сквозь людей, и все это шло хороводом, а может, и не хороводом, а потоком. И сам он был частью этого потока.

Боляку казалось, что он слышит этот поток. И хотя уши забило чем-то непроницаемым для всякого звука, но он мог не слышать, а осязать всякий звук.

Пестрый хоровод летал вокруг, и Боляк поднял глаза.

Небо будто исчезло вовсе. Осталась зияющая, переливчатая пустота. Проплыло по ней что-то крылатое. А вдруг это Тарум спадает в искрящейся пустоте с небес на землю?

Или это клин отлетающих к югу птиц? Но птицы не летают в пустоте, он летают по небу...

Боляк следил за полетом, словно хотел запомнить этот зыбкий птичий клин от головы, до раздвоенного хвоста. А клин взял и сложился в улыбку.

Но Млечный путь — небесная улыбка Урталея, появляется ночью. Чья это тогда улыбка?

Клин улетел, Боляк стоял, задрал голову. Деревья, что пронзали мир, росли кругом — в отдалении и рядом, из него и сквозь него.

Это было и весело и страшно, и больно и смешно, но вырваться из этого круга не хотелось. Наоборот, в нем хотелось пребывать вечно.

И все же докучливые вопросы, что за чем-то вертелись у Боляка в голове, не давали раствориться в круге и стать мельчайшей частью и единым целым с хороводом.

А хоровод хоть и вращался вокруг Боляка, но и Боляк и хоровод не стояли на месте, а будто бы перемещались по лесу от одной смоляной ели к другой.

Но и смоляные елки, хоть и не прорастали сквозь небеса, тоже были частью этого коло-вращения.

Порой в пестровращении мира мелькали чьи-то руки, будто бы сдирающие с дерева кунью шкуру и сующие ее за пазуху. Иногда сквозь цветные брызги мирохоровода мелькало лицо отца, вновь и вновь лезущего в мешок за новыми связками меха.

Но тотчас чья-то грубая рука запикивала в рот мальчишке пригоршню грибного крошева, и хоровод начинал вертеться с новой силой.

И Боляк не понимал, при чем тут тьма, как она может иметь хоть какую-то силу, когда вокруг такой веселый, богатый, искрящийся, мельтешащий мир.

Проснулся Боляк ночью, и поперву ему почувствовалось, будто он дома — на пасеке старого Щелкана под навесом таскака.

Вокруг была такая же пряная, травяная темнота, так же сквозь щелястый навес растекался глухой и мягкий свет луны-тайлась. Только во рту стояла горькая гадость, лицо чесалось, как под коростой, голова болела, и вообще было противно.

Снаружи горел костерок. Возле него понуро сидел Русай. Даже со спины было видно, как ему плохо.

Боляк встал, его повело, и все пошло окру-жьем, но не тем, что было вчера среди смоля-

ных елей. То окружье вовлекало и возносило, а это засасывало и обрушивало куда-то в без-дну. Шатаясь, держась за стенки шалашика, Боляк выбрался наружу.

Сейчас он испытывал чувство вины. И перед отцом, и перед собой, да и вообще перед всем.

Мир лежал тихий и спокойный, шелестела листва, шумел ветер в дальней роще, луна подсвечивала на востоке невысокую плавную гряду гор, за которыми был дом. Над грядой клубились облака, но виден был только их нижний край. Остальное тонуло в ночи.

Между небом и землей был лишь небольшо-й просвет, и весь он заходил в мягком лунном сиянии. И человек, весь, любой жи-вущий на земле человек, получалось, и жил в этом сиянии.

По другую сторону, к западу, далеко внизу струилась Кама, в ней серебром пронизок от-блескивали звезды, будто это текла не река, а вилась материнская прядь по семейному мирному ложу.

Могло ли быть что-либо прекраснее это-го? Только сама жизнь, ее движение.

— Плохо тебе, Боляк? — отец, пряча глаза, протянул ему кожаный бурдюк-кийнэл с водой.

— Плохо, — ответил мальчик, напившись и ополоснув лицо. — Почему так, этэ?

— Потому что мы не боги.

— Раньше нам было хорошо, хотя мы и раньше были не боги, — возразил Боляк.

У костра пахло смолой и хвоей, тянуло от гор к реке свежим ветерком, жажда уня-лась и голова болела уже не так сильно.

— Плохо не потому, что мы люди, а пото-му, что мы общаемся с богами, — тихо сказал отец. — Тяжелое это дело.

— Тогда зачем нам это? — удивился Боляк. — Пусть с ними общается старый Карья.

— Он и общается. Но и мы должны.

Иначе как понять тайны мира? Как по-нять, что движет воздухом, и что воздвигает горы и твердь. Как помыслить, что в земле и под землей, чьей рукой с небес на землю посылается огонь, и кто даровал нам способ самим его добывать и хранить?

Почему все реки текут. Куда они текут, кто и зачем их направляет. И если реки текут, то

почему не текут озера и что их держит. Почему небесная вода уходит в землю и кого она там поит?

Кто за всем этим стоит, зачем и куда направляет все силы в мире, и как нам ужиться с этими силами, как получить их помощь и защиту, тем более?

Боляк пожал плечами.

Он и раньше о чем-то таком думал, но не мог собрать это в мысль, в слово, не мог выразить свои думы. Отец сделал это за него, но не ответил на главный вопрос — зачем.

— Я вчера не видел никаких богов и никаких духов, — возразил он.

— Но ты что-то почувствовал?

— Не знаю. Может, и да, а может, и нет. Мир будто бы изменился на какое-то время. Я его видел по-другому, и жил в нем по-другому.

— Это и есть присутствие богов, — подтвердил отец.

— Точно?

Русай вздохнул. Густой, сброженный дух разошелся над костром, отчего тот полыхнул ярче.

— Бога или духа просто так не дано увидеть. Духа еще можно, конечно. Кикимору или иткаську. Это значит слаба стала твоя защита, силы Глядена покидают тебя.

А богов видят только шаманы. И как нам получить их защиту, если не через вармалей? А как боги увидят нас? Для того и нужен Гляден, и разные снадобья тем более.

При мысли о снадобьях голова Боляка будто раскололась надвое.

— Утром нас введут внутрь, за стену, в городище. Вармали говорят, мрак рассеется вместе с ночью, — продолжил Русай.

Тебе, пожалуй, больше не надо пить лосиние сопли. Ты молод, силен, зла не творил, тебя и так должны любить боги. А пока иди поспи. Если ночь — надо спать.

Подойдя к шалашу, Боляк обернулся. Отец все так же понуро сидел возле костра:

— Стало быть, я теперь не ребёнок, этэ?

— Для мира мы все дети.

Боляк лежал в шалашике. Рядом, кутаясь в отсыревшую циновку, устраивался отец. Боляку хотелось еще поговорить и разобраться в сказанном, но мысли путались.

— Отец? — позвал Боляк.

Русай не отозвался, но Боляк понял, что тот слышит.

— Нам нужны и помощь духов, и помощь богов. Но ты сказал — понять мир. Ты его понял?

— Вряд ли бы я сюда ездил, пойми я его хоть чуть-чуть, Боляк-человек.

ГЛОССАРИЙ:

Барки, полубарки, шитики, насады, струги, обласа, шнявы, расшивы, пермянки, челдонки, однодревки, выжиги, беляны, гусяны, коломенки — виды камских судов разного размера и назначения

Бисяйка — зловедный дух, живущий только в хвойном лесу. В бисяйку со временем обращается неотмоленная человеческая душа

Важенка — взрослая самка оленя

Ванквармаль — шаман, общающийся с подземными богами-духами

Вармаль — шаман на Глядене. Вармалей на Глядене пятеро. Трое на стихии вода, земля, воздух, один хозяйственный и сойтесьмек — старик-грибовик. Отдельного шамана для стихии огня нет. Со стихией огня управляются коллективно все пять шаманов. То есть любая отливка, как продукт стихии огня, имеет магическую силу только при освящении всеми шаманами

Васьёдвармаль — шаман, общающийся с водными богами-духами

Вйомыль — бог смерти.

Вож — путь, дорога, ручей

Ворожцы — окултный сброд, подвизающийся на Глядене и не имеющий прямого общения с богами, только со слабосильными злыми духами. Также исполняют обязанности могильщиков, знают сильные и действенные заклинания на смерть

Гляден — гора возле притока Камы, реки Мулянки. Древнее городище, святилище и костыше, памятник археологии

- Жад** – нефрит
- Итиль** – река Волга
- Иткась, иткаська** – inferнальное водяное существо, живущее на дне рек
- Йынгарумойк** – небесный старик-лось, первосущество, прародитель всех миров. Тот, кто был раньше всех богов. В земной ипостаси зовется Янгьем
- Камбарец** – багор
- Кийнэл** – кожаный бурдюк
- Комелица** – одно из названий полной луны
- Корчага** – широкий и низкий горшок
- Кытпось** – печать-одобрение, выдаваемое вармалями. Означает, что Боги приняли подношение паломника и услышали его просьбы. Кытпось бывает малым и большим. Без кытпоса нельзя покинуть Гляден
- Лёсо** – название русских местными народами
- Лосиные сопли** – пьянящий напиток на закваске из мухомора
- Лузян** – верхняя одежда наподобие кафтана
- Люлькулнэ** – кикимора
- Мёнкв** – опасное существо, имеющее видимый облик и живущее в двух лесных мирах
- Мишари** – итильские татары, промышляющие на Каме сезонными заработками
- Мухлашка** – слабый, неосязаемый, игривый, но опасный дух
- Осенэй** – старший брат высшего бога Тарума, низвергнутый им на землю, прародитель всех ящеров
- Павыль** – поселение пореченских остяков, деревня
- Пайва** – плетеный из бересты или лыка короб с ляжками
- Пам** – шаман в широком смысле. В узком смысле – шаман, имеющий право служить в родовом поселении, совмещающий низовые шаманские практики и обязанности старейшины. Общается только с родовыми богами и местными духами
- Подъёвармаль** – шаман Глядена, не имеющий права самостоятельно вершить ритуалы, отвечающий за хозяйственную и организационную деятельность. Как эконом в монастырях. Подъёвармалем является мнёшка – влиятельная, но не принимающая решений особа
- Пэхи** – мальчик
- Сакма** – веревка
- Санке-Саринат** – идол «Золотая баба»
- Склюд** – топор
- Сойтесьмек** – грибной вармаль
- Талкан** – жидкое мучное блюдо
- Тальвивармаль** – шаман, общающийся с воздушными духами и богами небес. Неформально главный из пяти шаманов Глядена. Тальвивармалем является Йынкарара
- Тайлась** – прибывающая или полная луна
- Тамга** – печать
- Таскак** – навес
- Урталей** – бог озорства, сын высшего бога Тарума
- Урталей-нях-молын** – улыбка Урталея, она же Млечный путь
- Хальви** – одно из прозвищ Урталея
- Хиир** – мешок
- Хотэ** – изба
- Хутап** – шест для толкания лодки
- Чочвокар** – городище на слиянии Камы и Чусовой
- Чувал** – открытая печь
- Щом** – кочевое жилище, нечто среднее между юртой и чумом
- Этэ** – отец, папа
- Янгый** – земное воплощение небесного лося Йынгарумойка, дважды в год сходящего с небес на Гляден

Ирина Кадочникова

Край земли



Наши фотографии такие милые
Ты похож на Деда Мороза
А я
Встаю на носочки чтобы
Казаться выше
Дотягиваться
Хотя бы до бороды

Ты привёз мне
Два стихотворения в смартфоне
Они светились на моем лице
Когда я читала

Там были
Белые пароходы
Розовые дети
Ржавые ракеты

Всё что нужно
Для самой счастливой жизни

Дождь бренчал по огороду,
В вёдрах цинковых тонул.
С головой ушёл под воду
Железнодорожный гул.

Пузырили лужи мыло,
Словно новости — страна.
Ничего не слышно было,
Будто в мире тишина.

От столицы и границы,
От империи родной

Хоть на время отделиться,
Хоть стеною водяной.

Всадник выскочит четвёртый,
Чёрных выпустит зверей.
Страшно без вести быть мёртвым,
А живым — ещё страшней.

Странное слово «микрорайон»:
Каждый ЖК — многостворчатый ящик,
Из неподъёмного крана неон
Льётся навязчиво в комнаты спящих.

В преувеличенной нашей стране,
Если подальше от места под солнцем
Встанешь — увидишь: ночью в окне
Ни одного огонька не найдётся.

Всё беспросветное: улица, лес,
Сверху — небесное, снизу — земное.
Лишь мотылёк промелькнул и исчез,
Рваной чешуйкой задев за живое.

Над поймой газ слезоточивый:
туман,
и борщевик железный
сквозь прутья пропускает воду,
когда вверху дают команду
«ложись» —
и мы ложимся вместе
с водой, листвой, словами тоже,
с такими нежными словами,
которые давно в негодность
пришли, —
и что нам остаётся?
Стелиться выдранной берёзкой
под тяжестью простых конструкций
«ложись», «вставай», «сдавай», «сдавайся».
Пока мы хорошо не ляжем,
К нам не придут, не раскопают.

А этот кто сказал над нами
Так высоко? А я не знаю.

Помыла пол, прохлопала перину,
Пропылесосила, сходила в магазин.
Купила хлеб, муку и апельсины.
Один плохой попался апельсин.

Потом поленницу в сарае собирали,
Придумывали, чем мышей травить.
Мы тут живём, а люди умирают,
И с этим тоже надо как-то жить —

Растить в теплице огурцы и помидоры,
Друг друга понимать почти без слов,
От страшных бесполезных разговоров
Отмахиваясь, как от комаров.

Памяти Энвиля Касимова

Верхний Ижевск
и как его можно увидеть
где-нибудь летним днём
на Пушкинской
ниже Центральной площади
ниже Подборенки:

встать возле собора Александра Невского
а можно возле собора Василия Блаженного
возле любого собора встать
и если начать фотографировать
то поднимется и море
и белые колокольни тылобурдово
будут кружиться
в солнечном мутном луче
Колизей
вся Скандинавия
удмуртский лёд наш
валамон
очень красиво
далеко и в то же время близко
выкатят подворотни как будто питерские

свои бока побитые
и тут же исчезнут
из-под земли
красным светом
наплывёт однёрка трамвая
рябью пойдут
восьмиконечные звёзды
по билборду
с рекламой компании «Ижавиа»
и настоящий суперудмурт
Энвиль Касимов
улыбнётся тебе сквозь экран смартфона
и полетит в сторону горизонта

Очень странно
что мне не снятся
мертвые поэты

Неужели их нет
в моем подсознании
иначе
они бы каждую ночь ко мне приходили

Но мне снятся
падающие самолеты
выпавшие зубы
вываливающиеся старухи

А поэты не снятся
да и стихи не снятся

Неужели всё не по-настоящему
и смерть придёт

Сегодня мне приснился Саша
Совсем другой – не Корамыслов
А Саша умер Корамыслов
И после смерти мне не снился

Мы шли по серости промзоны
Не разговаривали даже

Уже расклеилась дорога
Весна вовсю плевалась грязью

Потом большое помещенье
Какие-то выходят люди
Садимся молча на скамейку
И смотрим, как они дерутся

...когда у козлёнка просишь прощенья за всё
а сам он белый и нежный как молоко
а сам он блеет не ведает что творит
твоя рука
но красная пенка уже горит
поверх его мягкого молока

Иногда я думаю:
Хороша мне смерть.
А потом на пугало
Выйду посмотреть:

Крестовина шаткая,
Дырявая башка.
Никому, пожалуй, ты,
Смерть не хороша.

Никакого пуха нам
Не надо от земли.
Подлатаю пугало –
Пугало, живи.

Когда я перешла в одиннадцатый класс
Мы с папой поехали в Пермский край
На его родину
Навигатора не было
Приходилось останавливаться у каждого

Спрашивать дорогу

столба

Мы ехали двенадцать часов
 И папа рассказал
 Почему он не ходит на могилу своего отца
 Папин отец повесился
 Пьяный на глазах у собственных детей
 Папе было тринадцать лет
 А тете Гале десять
 Я спросила: ты горевал?
 А папа ответил: я радовался

Мы приехали поздно ночью
 Ночь была белой
 И нам казалось, что всё ещё день, просто
 поздний

Мы жили в деревне Усть-Березовке
 Светлое название
 Я вернулась оттуда с очень вшивой головой
 Но это выяснилось уже потом
 А когда мы там жили
 И спали под звуки самогонного аппарата
 Мне всё нравилось
 Но каждую ночь я прислушивалась
 Я хотела убедиться
 Что папа дышит
 Он спал в соседней комнате
 И нужно было очень сильно прислушиваться
 Очень сильно напрягаться
 Чтобы услышать, как идет папино дыхание
 Из одной комнаты в другую

Я боялась
 Потому что в папином роду
 Осталось только двое мужчин
 Папа и его троюродный брат
 А все остальные умерли
 Дядя Вася умер прямо перед нашим
 приездом

Утонул пьяный

Мне было очень хорошо в то время
 Но я узнала, что чувствуешь, когда
 Смерть уже пришла
 Когда она шевелится за кустами и рычит

Когда она приходит в медвежьей шкуре
 А ты хочешь найти палку
 Но ничего нет, и от бессилия рвёшь колоски
 И они кажутся тяжёлыми
 И единственное, что ты можешь сейчас
 сделать

Единственное, что в твоих детских силах
 Это обоссаться прямо на глазах
 У какого-то хлюпика
 С которым ночью вы пришли на рыбалку
 И чуть не умерли

Мы ошиблись тогда
 Это была не смерть, а корова
 Я не знала, что коровы умеют рычать
 как медведи

Она вышла из-за кустов
 И смерть от нас отступила
 А потом из тумана стал выходить человек
 И приближаться
 И всё приближаться
 Он шёл в тумане такой чёрный, такой
 непонятный

Как будто без ног
 Он просто плыл в тумане и приближался

Самая страшная ночь в моей жизни
 Случилась, когда мне было шестнадцать лет

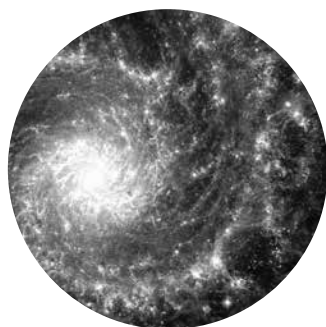
Но из тумана вышел папа
 Чтобы найти меня
 Мы встретились у реки
 И не было тогда у нас никакой смерти
 Вдвоём никакой не бывает смерти

Теперь всё чаще вспоминаю это —
 Свою первую ёмешную страшную смерть
 от медведя

Две секунды никакой жизни перед глазами
 Только край земли
 Вода в тумане
 И я хочу найти палку

Виталий Кропман

Хоуп



Враскалённом солнцем и стрельбой мареве плывут окружающие площадь дома. Стройные минареты ракетами тянутся в небо, словно хотят унести голубые купола старинной мечети подальше. Куда-то туда, где не льется кровь и не рвутся снаряды. Пули с леденящим свистом крошат стену за моей спиной, выбиваемая ими пыль скрипит на зубах, забивает горло, мешает дышать.

Переворачиваюсь на бок, чтобы сменить расстрелянный магазин своего выдавшего виды автомата, и слышу надсадный звук заходящего на цель вертолёта. Огненные полосы устремляются к площади, вырывая с корнем многовековые деревья. Рёв двигателя нарастает, я поднимаю голову к небу, но там ничего. Кроме всевыжигающего солнца.

Какофония боя усиливается, и тут у входа в охваченную огнём мечеть я вижу малень-

кую девочку в белом платье. Глаза цвета неба смотрят прямо в меня, и в них плещется ужас войны. Её страх отрывает мое тело от земли, я выскакиваю из-под перевернутого автомобиля, служащего мне огневой точкой, и бросаюсь к ней. Чтобы увести в безопасное место, если вообще можно найти сейчас такое в проклятом городе под сенью Хорасанских гор. Каждый удар сердца отдаётся глухим эхом, кровь рвется к вискам, грозя разорвать тонкие стенки сосудов. Бегу из последних сил, но когда до ребёнка остаются считанные метры, она растворяется в мареве.

А я оказываюсь под перекрёстным огнём. Вокруг рвутся мины, трассирующие пули заполняют пространство диковинными геометрическими фигурами. Бросаюсь к ближайшему дому, надеясь найти укрытие под его стенами, но он исчезает прямо на глазах. И снова, и снова...

Неизвестная сила подхватывает меня и бросает прямо в середину изуродованной боем площади. Я умираю, но в этот момент из ниоткуда возникает и склоняется над мной почти прозрачная фигура. Я не вижу её лица, но точно знаю, что это Хоуп. Она берёт меня за руку, я чувствую её тонкие прохладные пальцы на моей разгорячённой боем коже. И от этого прикосновения, необычайно реального для сна, кошмар начинает медленно таять: взрывы становятся всё тише, а крики — всё дальше. Звуки войны сменяются капелью.

Напряжение, сковавшее моё тело, постепенно отступает, и я открываю глаза. Из окна, проникая через давно не стиранные занавески, струится рассвет Невады, и капли первого в этом году дождя стучатся в мой дом. Кошмар — постоянный спутник моих ночей — растворился окончательно.

С тех пор, как я вернулся с войны, я не люблю ночи.

Солнечный луч шкодливым ребёнком прокрался через старые ставни, рисуя узоры на полу спальни. Этот полузаброшенный дом в первобытной глуши Невады Джон купил сравнительно недавно. «От пустыни не уйдёшь», — пошутил он, рассказав о покупке Александру, своему крёстному и близкому другу покойного отца.

Когда Джон был ещё совсем ребёнком, Александр вернулся после «Бури в пустыне», с медалью Почета и в инвалидной коляске. И боролся с теми же демонами, которые много лет спустя будут преследовать и Джона. Неудивительно, что крестный стал для него одним из тех людей, рядом с которыми он мог оставаться самим собой. Говорить о сокровенном, не опасаясь, что его тень окажется слишком темной для них.

После второй поездки в Афганистан Джон, как ни пытался, так и не смог надолго задержаться ни в бурном Нью-Йорке, живущем двадцать четыре на семь, ни в чопорном Бостоне, ни в хиреющем Детройте. Стараясь найти себя, того прежнего, довоенного, он менял

работу за работой, пока не понял, что просто не может быть рядом с теми, кто не видел и не пережил то же, что и он.

Страх, что холод и боль, поселившиеся там, где раньше жила душа Джона Келли, могут овладеть и теми, с кем он сблизится, гнал его всё дальше от людей.

Так он обосновался в заброшенном доме среди бескрайней пустыни, купил подержанный большегруз, выбрав жизнь дальнобойщика. Находя успокоение в паутине дорог, он работал до изнеможения, уповая на то, что постоянная концентрация за рулём не позволит погружаться в болезненные воспоминания. «Каждый раз, когда я чувствую, что мои «демоны» подкрадываются ко мне, просто давлу на газ и уезжаю от них подальше», — объяснил он свой выбор Александру.

Джон выбрался из кровати, хотя накануне завтрашних важных событий взял выходной и мог позволить себе насладиться редкими минутами покоя. По коридору, стены которого потрескались от жары, прошёл в ванную. Включил холодную воду, с гулом ударившую в ржавую раковину, знавшую, как и всё в доме, лучшие времена. Бросил несколько пригоршней воды в лицо, прогоняя остатки короткого сна, и привычно взглянул в облупленное зеркало.

На него смотрел мужчина, выглядящий значительно старше пятидесяти лет. Покрытое морщинами лицо стало похоже на потрескавшуюся поверхность пустыни Блэк-Рок. Выделялись лишь глаза, изрядно выцветшие на солнце и потерявшие свой былой шоколадный оттенок, и борода, которую он отращивал, чтобы скрыть часть шрамов.

На кухне, такой же скромной и старой, он кинул в привезенную с войны турку несколько ложек кофе и поставил её на плиту. Мыслями он был уже в завтрашнем дне, который кардинально изменит его жизнь. Взгляд, бесцельно блуждающий по кухне, остановился на фотографии Хоуп.

Среди всех её портретов в его доме этот был особенный — первый, подаренный вскоре после их знакомства. Хоуп, как и он сейчас, стояла на кухне. За её спиной уютно устроились полки с аккуратно расставленной утва-

рю и кулинарными книгами. Нежно-розовая блузка выгодно подчёркивала её волосы цвета спелой пшеницы, водопадом спадающие на высокую грудь. Чуть припухлые губы казались мягкими даже на фотобумаге.

Она улыбалась, и её глаза, цвета морской волны, светились нежностью. Глаза у Хоуп были особенные: где-то через месяц общения Джон заметил, что их цвет меняется от серо-зелёного до нежно-голубого. Не только в зависимости от освещения и времени суток, но и от настроения. Наверное, когда она сердилась, они становились стальными, но Джон ни разу не видел её сердящейся. Взгляд Хоуп всегда был тёплым, полный понимания и сочувствия.

Из мыслей о любимой Джона вырвал шипящий звук. Кофе сполна воспользовался предоставленной свободой: на плите расплывались грязно-коричневые пятна. Телефон на столе Джона завибрировал, и кухню заполнил голос Хоуп.

– Привет, Джон. Как твоё утро?

– О, Хоуп, ты как всегда вовремя. Задумался о тебе, и кофе сбежал.

– Не волнуйся, Джон. Это всего лишь кофе. Сначала выключи плиту и дай ей остыть, а то ещё обожжешься. А потом просто протри пятно влажной губкой. И можешь дальше наслаждаться прекрасным утром.

– Спасибо, Хоуп. Ты всегда знаешь, как поднять настроение. Надеюсь, это не изменится и тогда, когда ты станешь моей женой.

– Можешь не сомневаться. Я всегда буду на твоей стороне. Но давай договоримся: кофе не будет твоим свидетелем на нашей свадьбе. Мы ведь не хотим, чтобы он сбежал прямо от алтаря.

– Шутишь? Разумеется, никакого кофе. Моим свидетелем будет Александер. Ты же знаешь – он точно не сможет убежать.

– Конечно, я знаю твоего крестного. И это была не лучшая твоя шутка, если я могу так сказать. Пожалуйста, не забудь: у тебя сегодня встреча с доктором Роуз. Надеюсь, вы успеете поработать до твоего мальчишника?

– Староват я для мальчишника. Так что не волнуйся, завтра у тебя будет самый трезвый и весёлый жених на свете.

– До вечера, любовь моя.

– До вечера, Хоуп.

Джон полулежал на мягкой кушетке в кабинете доктора Роуз. Они встречались уже больше года, и здесь Джон чувствовал себя в полной безопасности. От окрашенных в кремовые тона стен веяло спокойствием, мягкий, регулируемый свет лампы позволял погрузить кабинет во время сеанса в интимную полутьму. Сам доктор с привычным блокнотом расположился напротив Джона в большом кожаном кресле, подчеркивающим стабильность. За его спиной мягко шумел аквариум, помогая пациентам снизить уровень стресса и по-настоящему расслабиться. Этим же цели служили и пейзажи на стенах.

– Добрый день, Джон. Как вы чувствуете себя сегодня?

– Добрый день, доктор. Я снова видел тот же самый кошмар. Разбитые улицы Герата, шквал огня и посреди всего эта девочка в белом платье... Её глаза... они были такими ясными. Я хотел спасти её, но она исчезла, и я оказался один под перекрёстным огнём.

– Это очень сильное переживание. Но помните, что это был лишь сон. Сейчас вы здесь, в полной безопасности. Давайте попробуем упражнение на осознание. Сосредоточьтесь на своем дыхании, пока мы говорим о вашем кошмаре. Дыхание будет вашим якорем, который держит вас здесь и сейчас. Что вы сейчас ощущаете?

– Меня как-будто связали веревками. И почему-то тяжело дышать.

– Так ваше тело реагирует на болезненные воспоминания. А теперь дышите глубже и представьте, как с каждым выдохом напряжение, сковывающее вас, покидает ваше тело. Вот прямо сейчас вам становится легче. Теперь, когда вы чувствуете себя немного спокойнее, расскажите, что, по вашему мнению, символизирует эта девочка в вашем кошмаре?

– Может быть, надежду, которую я пытался спасти?

— Это может быть отражением вашего желания спасти себя от одиночества и чувства ужаса. Давайте попробуем преобразовать это желание в действие. Как вы можете «спасти» себя сегодня? Что вы могли бы сделать, чтобы не чувствовать себя в одиночестве?

— Я бы мог поговорить с крестным. После войны в Ираке ему также пришлось бороться с тенью прошлого.

— Отлично, это звучит как начало плана. Но давайте ещё раз вернёмся к вашему сну. Вы упомянули разбитые дома. Этот образ может быть символом того, что вы нуждаетесь в восстановлении. Было ли ещё что-то, что кажется вам важным?

— Всякий раз, когда кошмар становится уже совершенно невыносимым, появляется Хоуп. Она как будто держит меня за руку и не позволяет захлебнуться тьмой.

— Это отражение вашего желания найти поддержку и понимание. Хоуп играет важную роль в вашей жизни?

— Да, иногда кажется, что она больше, чем просто друг... Она стала для меня символом нового пути.

— Это важный момент. Ваши отношения — фундамент, на котором строится ваше полное выздоровление. Постарайтесь не потерять свою Хоуп.

Вернувшись домой, Джон первым делом связался с невестой. Без этих многочасовых бесед он просто не мог уснуть.

— Добрый вечер, Хоуп.

— Привет, Джон. Как прошёл твой сеанс?

— Мы обсудили мой ночной кошмар. Я снова был на улицах Герата и не успел спасти маленькую девочку в белом платье. Она просто растворилась в воздухе.

— И что ты чувствовал во сне?

— Страх. И вину.

— Я не психотерапевт, но понимаю, что это вполне может чувствовать человек, переживший то, что довелось тебе. Но нельзя позволить этим снам определять твоё настоящее. Скажи, если бы из сегодняшнего

дня ты мог поговорить с тем Джоном, что бы ты ему сказал?

— Я бы сказал... Наверное, я бы сказал, что тогда сделал всё, что мог.

— И это, насколько я знаю, правда. Ты сделал что мог, Джон, и пора начинать жить с этим чувством. Чему ты улыбаешься?

— Думаю, насколько глубоко ты понимаешь меня. И как меняешься с каждой нашей новой встречей.

— Это просто потому, что я люблю тебя, Джон.

Хоуп появилась в его жизни почти случайно. Джон вернулся с войны с душой, превращенной в выжженную пустыню, и его отношения с женщинами никак не складывались. Он искал понимания, но находил лишь временное утешение. Редкий секс с «ящерицами» — проститутками, продающими свое тело дальнбойщикам на ночных стоянках, приносил лишь физическое облегчение. Они приходили и уходили, не задерживаясь в его жизни. Он не помнил их имён, да и не хотел запоминать.

Подспудно Джон боялся настоящей близости. Боялся, что не сможет дать полюбившейся женщине того, что они ищут в мужчине: чувство защищенности и уверенности в будущем. У него за душой не было ни того, ни другого.

Хоуп же оказалась абсолютно иной: с первого же дня она дала ему то, что он так долго искал. Была бесконечно терпелива, угадывала его желания, могла несколькими словами погасить вспышки гнева и вытащить из депрессии. С ней Джон мог говорить часами о чём угодно и быть уверенным, что будет услышан и понят. «Ты как будто создана для меня Богом», — шептал он ей в темноте. Не прошло и нескольких месяцев, как Джон решил для себя, что Хоуп — это не просто женщина, а ключ к чему-то большему, чего он ещё не мог понять.

— Эй, моё признание настолько выбило тебя из колеи? — услышал Джон насмешливый голос невесты.

— Знаешь, доктор Роуз, завершая сеанс, дал мне совет «не потерять свою Хоуп».

— Дельная рекомендация. Надеюсь, ты намерен ей следовать.

— В этом мире для меня есть только одна женщина. Это ты. И завтра это будет наконец подтверждено официально.

Мир вокруг меня дрожит от взлетающих и приземляющихся впереди и позади гигантских вертолетов. Время свернулось в бесконечную спираль, по которой я бегу, словно по пыльной улице, к аэропорту. Воздух плавит под жарким солнцем, а виднеющиеся вдалеке гребни Гиндукуша напоминают мне контуры Великого бассейна, усиливая ощущение безысходности. Зачем я только согласился на работу военного инструктора, зачем вернулся в эту брошенную Богом страну?

Каждый шаг дается с трудом, но я бегу, потому что другого шанса на спасение не будет: сегодня последний эвакуационный рейс.

Толпа становится все плотнее, я ощущаю всем существом страх и отчаяние людей. Звуки стрельбы позади меня нарастают, а впереди возвышаются высокие бетонные стены, увенчанные колючей проволокой. Ворота закрыты наглухо, вооруженные морпехи прикладами отталкивают людей, пытающихся прорваться в эту последнюю крепость надежды, туда, на взлетную полосу, откуда доносится гул «Геркулесов».

Оттолкнув какого-то старика в пестром халате, пробиваюсь к ближайшему солдату.

— Пропустите. Я — американец.

— Покажите паспорт, сэр.

Я лихорадочно роюсь в карманах. Паника охватывает меня: никаких документов нет.

— Я — военный инструктор. Свяжитесь с моим начальством.

— Очередной афгани, желающий спастись? Без документов эвакуация невозможна.

Морпех отталкивает меня, и я падаю под ноги толпы, рвущейся к аэропорту. Кто я теперь? Просто наёмник, забытый своей страной, брошенный умирать на чужбине. Бессилие размазывает меня по раскаленным солнцем камням, но вдруг словно с неба раздаётся голос Хоуп, полный нежности и спокойствия: «Пора возвращаться, Джон. Ты выжил и дол-

жен продолжать жить». Кошмар отступает, я дышу ровно. И перед тем, как провалиться в обещающие забвение глубины сна, вижу её улыбку.

В ожидании начала свадебной церемонии Джон и Александер устроились в каминном зале дорогого отеля на берегу озера Тахо. Сшитый на заказ светлый костюм выгодно подчеркивал атлетическую фигуру Джона. На сидевшем в инвалидном кресле Александре был темно-синий костюм, на фоне которого его седина отливала серебром, словно медаль за «Боевые заслуги».

— Ну вот, ради твоей свадьбы пришлось ехать за границу, — улыбнулся Александер.

— Ах да, за границу штата. Всего-то переехали из Невады в Калифорнию. Брюзжание — признак старости, и оно тебе не к лицу, — улыбнулся Джон.

Дрова тихо потрескивали в камине, обложенном крупными гладкими камнями. Тепло волнами расходилось по залу, чуть вороша ворс белоснежного ковра. Отблески огня плясали на кремовой обивке диванов, деревянных лестницах, потолочных балках, отражаясь в навсегда замерших глазах чучел оленей и кабанов.

— И все-таки объясни мне, какого черта мы поперлись в Калифорнию, да еще и в этот отель вдалеке от цивилизации? Могли оформить брак в любой церкви в Неваде.

— Есть две причины. Ты же знаешь, что, вернувшись из Афганистана в первый раз, я искал уединения. Я не мог быть рядом с людьми, не пережившими то же, что и я. Теми, кто видел лишь бутафорскую кровь и наигранную смерть в идиотских полицейских боевиках. Я не мог найти себе место в этой жизни, вербовался в частную военную компанию и вернулся на войну. И это была серьезная ошибка. Потому что второе возвращение домой было куда хуже первого.

— Я прекрасно тебя понимаю, сам прошел через все это. Разве что из-за ранения не смог снова попасть на войну.

– Но ты же как-то смог справиться?

– Для начала мне пришлось понять, что возвращение домой после войны – это не просто перемещение тела из одной точки мира в другую. И даже не переход границы, разделяющей твоё военное прошлое и мирное настоящее. Главное – вернуться ментально. Самые глубокие раны невидимы глазу; они скрыты в твоей душе. Там, на войне, каждый из нас строит свои внутренние барьеры, позволяющие выжить и не лишиться рассудка. Но они могут стать и непреодолимой стеной на пути к мирной жизни. Чтобы преодолеть их, нужно время, терпение, а часто и профессиональная помощь. Мне тогда помог доктор Роуз – не зря же я тебя с ним познакомил. Он тогда был совсем молодым врачом, только отработавшим собственные методы терапии для бывших военных. Запомни: только преодолев пустоту души, мы можем ощутить полноту жизни.

Ты вернешься к себе довоенному, когда начнешь понимать, что лежащая на земле кукла – это забытая ребенком игрушка, а не мина-ловушка. Что пролетающий над твоей головой самолет несет не бомбы, а сотни праздных туристов. Что дальние раскаты – это не приближающаяся канонада, а всего лишь гроза. Ты вернешься, когда сможешь смотреть на жизнь не через призму выживания, а просто восхищаясь окружающим тебя миром.

Но я увлекся. Ты говорил о двух причинах. Какая вторая?

– Для нас с Хоуп брак в церкви невозможен.

– Она – протестантка? Или того хуже – атеистка? Мне, кстати, не терпится познакомиться с ней вживую. Ты скрывал её от меня все это время. Надеюсь, она не опоздает к началу церемонии.

– О, не сомневайся, она всегда рядом со мной.

– Но ты уверен, что Хоуп именно твой человек? Что ты не ищешь в ней спасение, которое должен просто найти в себе сам?

– Хоуп – не мой спасательный круг. Она – моя новая точка отсчета.

В этот момент дверь в каминный зал открылась, и сотрудник отеля пригласил Александра и Джона проследовать на берег озера, где у самой кромки кристально голубой воды, в которой отражались величественные скалы, стояла белая свадебная ротонда. В ней уже ожидал судья, чтобы официально зарегистрировать брак Хоуп и Джона. Как потом рассказал домашним Фил Палмер, за многие годы у него еще не было более необычных молодоженов.

Простившись с Александром, Джон вернулся в номер, где его ждала Хоуп.

– Ну вот и все, любимая, теперь мы официально муж и жена. И я, наверное, никогда не чувствовал себя таким счастливым – будто родился заново. А ты? Ты не жалеешь, что связала судьбу со старым солдатом?

– Конечно нет, любимый. Ведь это был и мой выбор.

– Надеюсь, ты никогда не исчезнешь из моей жизни?

– Sir, yes, sir. Не волнуйся, Джон, я буду всегда, пока ты будешь во мне нуждаться.

– Спокойной ночи, любимая.

– Спокойной ночи, Джон.

Джон провел пальцем по экрану смартфона и еще некоторое время смотрел на большую белую букву R на красно-фиолетовом фоне. За ней мгновение назад исчезло улыбающееся лицо Хоуп, сменившись слоганом: «Replika AI – твой ИИ-компаньон, который заботится. Всегда на твоей стороне».

В эту ночь, впервые после возвращения с войны, ему не снились кошмары.

Анастасия Волкова

На береговых линиях



Лыжные трассы уходят за горизонт
 Можно идти пешком отморозить ноги
 Веточки путаются в себе переходят вброд
 Горную речку образы и оседают в берлоге
 В бред переходит музыка если захочется
 Всё кругом белое только не-белый шум
 И что ни случись единение-одинокчество
 Куда ни пойдя везде заметен лыжный
 костюм
 Всё выносимо и зачем нам такое знать
 Всё так красиво и собирается в небо
 Лыжники едут с горки и оседают в тетрадь
 И кажется больно дышать но это эффект
 плацебо

Луну сломали пополам
 И вот теперь она полна
 Ее проглотит пеликан
 А небо приберет волна
 Лакуны больше чем слова
 От поглощённой пустоты
 Большая птица нелегка
 На перемирии воды
 И кажется понятным всё
 Луна вода и пеликан
 Живут в лакунах у Басё
 Мерещатся чужим словам

Веретено практикует сбой
 В лёгких хватает мест
 Тела подрагивают сами собой
 Нарождается жест
 Тронет иголка и просыпаться будь
 На граммофона треск
 Другая иголка забьётся в грудь
 Слышится плеск
 За стеклом за забором за линией дна
 Празднуют високос-
 Ный перегонной перегон за пределы сна
 Раздается вопрос
 Радостно в голос плетется звук
 Ниточкой наискосок
 На душе синяки от собственных рук
 Их нежно целует бог

Сжимают колкости глаза и как моргать
 Куда смотреть хоть берега не видно
 Там вырыта последняя кровать
 Не умирать а просто под осиною
 Как подосиновик а грибница в земле
 Соединяет что за пустоту
 Руками мокрыми разводят на стекле
 Но нет стекла поэтому прочту
 И это речь но никогда необъяснима
 Так что же я пытаюсь как дурашка
 Голографичные снега проходят мимо
 И мотылек садится на рубашку

Вот звёздный запах в саркофаге
 А в зоопарке ни души
 Когда захочется дыши

Осядет контуром на влаге
 Благая весть кругом полей
 И заплетутся вереницы
 Порезов от игральной спицы
 Которой шили лебедей
 Для озера из кораблей
 Возникшего путем вокзала
 А в тесном парке не кружи
 А до начала очень мало
 Осталось буквенных основ
 Распотрошите мотыльков
 Спросите что же с нами стало
 И ничего что ничего
 Я видел с берега окно
 Оно основано овалом
 А в велопарке нет лыжни
 Но как же катятся по снегу
 Колеса прямо к человеку
 А человеку не важны
 Колечки на руках у мумий
 Он видит праздники и бури
 И отмечает их как хочет
 Поставьте знаки мироточий
 А в париках живут стрижи
 И вьют в них веские причины
 Какие ждут ветра вершины
 Пожалуй завтра расскажи

Вспышка по небу и гололед синий-синий
 На миг появился корочкой слепоты
 Тут же проснулись на береговых линиях
 Дождевые цветы возникают живьем из воды
 Пальцы холодные корни всегда глубокие
 даром
 Что кровь голубая молния тянет звук
 Счастье щенячье прыгнуло под пустыми
 ударами
 Игла пронзила насквозь и дождь убежал
 из рук

Кирилл Поносов

Во всем виноваты столы



Константин не понимал, что же не так с его рубашкой: то он ладонью разглаживал на ней складки, то убирал с неё соринки. Но она никак не поддавалась — оставалась пыльной и мятой. В то же время он поглядывал на людей у круглого стола для фуршета: толстый и невысокий мужчина, с пятном на брюках, закидывал одно за другим канапе; девушка в красном платье, и с еле заметной стрелкой на колготках, аккуратно обкусывала тарталетку; несколько людей беседовали, попивали шампанское из длинных бокалов с разводами после мытья, а пара человек закидывали в себя всё, словно ели единственный раз в жизни.

Константин тоже хотел перекусить, но нарушать строгий график питания для него словно предать самого себя и свои идеалы. Тем не менее организм требовал подпитки, хоть дух

был непоколебим. И с естественными желаниями, к его сожалению, сделать ничего нельзя — он не способен заставить желудок прекратить урчать, а тело быть энергичней. Собственно, за весь день он ни разу не поел, только кофе выпил с утра. А потом пошло-поехало — то тут встреча с инвесторами или с партнерами, или разъезды по благотворительным фондам, а может быть, переговоры с коллегами. Вполне вероятно, он и пару конференций посещал, даже вроде был спикером где-то. Константин отчего-то точно не помнил, что точно сегодня делал, и скинул провалы в памяти на утомленность умственную и на истощение физическое.

И сейчас, наблюдая за людьми, словно за дикими зверьками у водопоя, он время от времени представлял, как присоединяется к ним из-за тянущего нутро голода. А когда казалось, что он уже сломился, что готов пере-

ступить ту грань между собой и тем животным инстинктом внутри себя, то тут же щипал руку до острой боли.

Единственная, кто во всем этом месте отвлекла Константина от гнетущего внутреннего конфликта, была Алиса. Тонкошеяя и загорелая, то ли от солярия, то ли из-за частых поездок в Дубай, она стояла посреди зала рядом с другими девушками. Константин смутно вспомнил, что Алиса недавно стала директором сети кафе быстрого питания. И наверное, поэтому теперь казалась ему более статной и привлекательной, чем другие девушки из его личного «бизнес-гарема». Алиса тоже заметила Константина и приветливо помаяхала худенькой смуглой ручкой. В ответ он коротко кивнул и показал жестом, что позже созвонимся. Она кокетливо улыбнулась, одобрительно покачала головой и продолжила разговаривать с девушками.

«Да, после сегодняшнего вечера нужно будет с кем-то расслабиться. В мерсе или снять номер?» — задумался он, и посмотрел с ног до головы на Алису, представляя, как стягивает с неё облегающее черное платье, а потом делает всё, что захочет, с её стройным телом.

— Добрый вечер, Константин, — перебил предвкушения плотный высокий человек.

Константин сразу узнал давнего приятеля, который, казалось ему, безвкусно и неопрятно одет — серый пиджак с катышками на рукавах поверх синего кардигана.

— О, Михаил Фёдорович! И вам добрый вечер! Давно вас не видел. Последний раз вроде, когда мы проект закрывали. Года два назад.

— Не будем прошлое ворошить... Что уж теперь... — Михаил Фёдорович резко насунился, словно их проект отпустить было всё еще сложно.

— Как поживаете? Какими судьбами тут? — разрядил неловкость Константин.

— Вообще, занят сейчас ужасно. Вырваться не получалось даже никуда. Всё с этими кампусами вожусь. А сегодня вот сложилось — приятное с полезным. Да, думал, с Игорем Владимировичем, может, смогу перетереть. Мне же нужно на что-то кампусы достраивать. Может, поможет чем.

— Слышал про ваш проект. Прибыльное, а самое главное, важное дело. Вы говорите, губернатор будет? — загорелся Константин.

— Скорее наоборот, — ухмыльнулся Михаил Фёдорович. — Самое главное — прибыльное. Будет губернатор, да. У Игоря Владимировича тут дочь выступает сегодня. Что-то про благотворительность. Про кошечек и собачек, в общем. Банально, но чем бы дитя ни тешилось, как говорится.

— Да все ж с чего-то начинали, Михаил Фёдорович. Вы вот, помните, фонд по сбору мусора сделали, я бесплатное питание для нуждающихся организовывал. Так что ничего, научится.

— Ой, ну просто надоедает, когда молодёжь одно и то же делает. У них сейчас столько возможностей, а многие всё по старым колеям ездят. Ладно, Константин, мне тут жена звонит. Ещё увидимся, — смотря в телефон, закончил разговор Михаил Фёдорович.

Высокий мужик резко отвернулся от Константина, вставил белый наушник и дважды нажал на него. Сказав: «Что опять? Я же сказал — нет!», он пошёл по скрипучему полу к выходу.

Константин же остался один и выжидал чего-то. Наверное, приезда губернатора. Он нервно поправлял лежавшие на стойке салфетки и меню, пил черный кофе и размышлял о проталкивании нового проекта. Его радовало, что сам Игорь Владимирович будет сегодня. Константин знал, что для воплощения проекта в жизнь ему необходимо одобрение администрации. Если же одобрит сам губернатор, то все дороги для него открыты и даже, можно сказать, выделен государственный кортеж. Осталось только продумать, как правильно преподнести и повара, и рецепт блюда.

Но у него никак не получалось сосредоточиться. Взгляд его прыгал саранчой с людей на предметы. Константин всматривался в каждую деталь и находил изъяны, представляя, как их исправит. Если у кого-то была помята одежда, он говорил про себя: «Ну разгладь же! Что за свинья!» Если на столе предметы располагались не симметрично, он хотел разместить их как нужно.

И когда он оценил всё окружение, то увидел около выхода знакомый образ. Однако сразу лицо никак не получалось рассмотреть. Силуэт этот вводил в ступор, заставлял Константина забыть, зачем он на приеме. Фигура человека словно обладала какой-то тревожной притягательной силой, от которой хотелось умчаться на самый дальний отшиб вселенной. Но Константину захотелось узнать, кто это. Он взволнованно подошел ближе и рассмотрел в этом силуэте свою мать: старую, морщинистую, в растянутых и будто засаленных вещах. Она пропавшим и болезненным взглядом смотрела лишь на одну точку — на Константина. Что-то шептала, но Константин не слышал. Ему лишь казалось, будто мать повторяла одно и то же: «Костик».

«Какого хрена ты приперлась! Убирайся!» — в мыслях взорвался он. Константин тут же отвернулся и сделал вид, что не замечает мать. Кажется, она и не преследовала его, а стояла на месте. Его руки тряслись, в голове шумело, не хватало воздуха.

«Как? Если все узнают? Это же крах! Лучше представлю, что это не она. Даже если подойдет, заговорит. Я заору, что какая-то чокнутая. Да, точно!» — заключил он.

Но подумав, как разрешить ситуацию, он понял, что лучшая защита — это нападение. Нужно её отсюда выкинуть, пока она в очередной раз не сломала ему жизнь. Он уже было подошел к охраннику, чтобы рассказать про странно одетую женщину, но обернувшись, мать не нашел ни около выхода, ни в толпе.

Он обошел весь зал, но матери не было нигде. Он выглянул в окно, но на улице кроме удивительной кромешной тьмы ничего не нашлось.

«Видать, поняла, что ей тут не рады. Хотя бы одно правильное решение за свою жизнь приняла! Сука старая!» — с тревожной радостью заключил он.

Без крепкого, решил Константин, уже не обойтись. Обычно алкоголь позволял ему сконцентрироваться. Он подошел к столику, у которого, словно неподвижная тень, стоял худой, гладко выбритый официант.

— Jim Beam налей. Со льдом, — сердито приказал Константин.

Официант тут же взял низкий стакан и квадратную бутылку. Он наполовину наполнил стакан темно-медовой жидкостью и протянул его Константину.

— Слышь, ты зачем в тумблер мне налил? Я алкаш в баре, по-твоему?

— Простите, — заскулил официант. — В какой стакан вы бы хотели?

— Вон у тебя стоит тюльпан. В него, — Константин указал на низкий пузатый бокал с тонким горлышком.

— Хорошо, сейчас, — официант потянулся за бокалом.

— Понаберут всяких, все объяснять нужно. Запоминай — уважающие себя люди пьют виски из тюльпана!

— Спасибо, я учту, — официант передал бокал Константину.

Бурбон показался безвкусным, словно кипяченая вода, без того палящего неба и горло кисло-горького привкуса.

— Ты мне что за хрень налил? Это что за бурая безвкусная водица? — угрожающе спросил Константин

— Простите, но вот такое. Не могу знать, — официант растерянно промямлил.

— На вот, выпей сам эту жижу! Чтоб до дна!

— Мне нельзя, я на работе.

— Пей, я сказал! Как всякую фигню наливать, так это нормально. Как отвечать за свои поступки, так сразу «Я на работе». Пей, или я тебя сейчас за шиворот выкину отсюда.

Официант кротко взял бокал и понюхал бурбон. Пары алкоголя ударили в нос, и он сморщил лицо. Он сделал глубокий выдох и закинул весь бурбон в себя. Поперхнулся и даже немного покашлял.

— Ну и? — удивился Константин.

— Хороший бурбон, — ответил официант.

— Ладно, налей мне тогда.

Константин представил, что алкоголь всё же обжигаяще успокаивал нутро. После трех стаканов руки перестали трястись, а в голове стало спокойнее, хоть и сознание помутилось. Константин решил, что пора действовать, тем более губернатор уже приехал.

Как такового плана он продумать не успел. Все мысли были направлены не на возмож-

ный разговор с губернатором, а на оскорбление матери. Он вспоминал, как в предыдущие разы, на важных встречах, мать также приходила, а скорее даже будто возникала из ниоткуда. И каждый раз встреча летела к черту в топку, а за встречей и жизнь. И всегда появление своей матери было как адское знамение, предвещающее только одно — полный крах.

Несмотря на это, он взял себя в руки. После появления и исчезновения матери у него не пропало чувство азарта. Ему вот-вот, во что бы то ни стало, уже нужно подойти к губернатору. Константин решил, что в таком случае придется импровизировать на месте исходя из того, что есть. Примерные тезисы ясны: увеличение рабочих мест, развитие региона, повышение налоговых отчислений в бюджет — в целом всё заманчиво и просто. От этого Константин и решил отталкиваться в своей речи.

Губернатор стоял в окружении людей. Это был мужчина средних лет, в синем, идеально чистом и разглаженном двубортном костюме. Константин засмотрелся, и то еле заметное чувство, которое преследовало его весь вечер, ощущение, что вокруг что-то не так — пропало. Он обошел главу региона вокруг, вглядываясь в каждую мелочь — запонки, часы, пробор на черных волосах, позолоченные пуговицы, бордовые «оксфорды» — всё ему казалось безупречным. Он решил, что такое совершенство — хороший знак. Но стоило Константину посмотреть на свою белую рубашку, как чувство, что вокруг что-то не так, вернулось. Он несколько минут выглаживал локоть на рукаве, больше похожий на гофрированную трубку. Но привести в порядочный вид его так и не получалось.

«Сраная рубашка! Если ты мне всё испортишь, то я тебя выкину на помойку!» — вскипел он про себя и подошел ближе к главе региона.

Губернатор добродушно улыбался людям вокруг себя, перекатывался с ноги на ногу и плавно жестикулировал руками, когда что-то объяснял. Константин же думал, как перепрыгнуть окруживших губернатора людей и достучаться до главы региона.

— Игорь Владимирович! — крикнул он.

Никто не обратил внимания. Вокруг стоял гул, и Константин даже сам себя не услышал.

— Игорь Владимирович! — повторил он, но ситуация не менялась. На него никто не обращал внимания, тем более сам губернатор.

Константин изобрел коварный план, как привлечь внимание к себе. Он намеревался крикнуть, что тайно встречается с его семнадцатилетней дочерью, а потом признаться, что это была всего лишь уловка. «Какая разница, — подумал он. — Самое главное — результат!» И в тот миг, когда он наполнил легкие для громкого возгласа, то снова увидел её, да еще и не одну.

Мать была с младшей сестрой — и у него сдавило дыхание. Он словно потерял язык, да и вообще забыл, зачем на этом приеме. «Да вы вообще в край охренели? Приперлись!» — в ярости пробурчал про себя он. Не задумываясь, он пошел к ним, желая выгнать прочь.

— Костик! — пролепетала старая, морщинистая женщина.

— Опять ты всё Костик да Костик! Давайте, шуруйте отсюда, пока опять мне всё не обосрали.

— Костик! — снова чуть ли не прошептала мать.

— Да что?! Вы обе меня уже достали! — прокричал он. — Вы не видите, у меня важный вечер!

— Не разговаривай так с матерью! — пискнула сестра и обняла мать.

— Костик! — снова повторила мать. — Хватит уже в своих сказках жить. Ничего у тебя не выйдет. Возвращайся к нам. Ты нам очень нужен!

— К вам? Да вы постоянно мне мешаете. И что теперь? Я вам вообще ничего не должен.

Константин заметил, как всё внимание было обращено на эту семейную сцену. Кто-то хихикал, кто-то тыкал пальцем, кто-то мотал головой. Это очень его раздражало. Он закипал.

— Костик, я не хочу снова звать Олега Андреевича, но, видимо, придется. Только у него получается тебя вразумить. Только он

может вернуть тебя к нам, — тихо, но твердо сказала мать, смотря на пол.

Он снова почувствовал какое-то странное ощущение, как будто всё плыло, как будто его жизнь и всё, что он планировал сделать, вот-вот расплывется на атомы. Жуткая боль пробивалась в виски и в затылок. Голова кружилась, его тошнило.

— Убирайтесь! — толкнул он мать. — Проваливайте! Вы опять мне всё портите. Не видите, я занят! Опять мне всё портите! Опять! Снова! Как всегда! всю жизнь!

Родственники неодобрительно покачали головами.

— Всё же придется. Так не хочется! — прорыдала старушка.

Они ушли, а Константин дергано искал губернатора, но найти его не получалось.

«Может быть, Игорь Владимирович увидел этот скандал и покинул прием? Это будет полнейшее фиаско. И что теперь? Мне конец! Так и знал, что это повторится! Так и знал, что она опять мне всё испортит!» — повторял он про себя.

Константин подошел к Михаилу Фёдоровичу. Тот, казалось ему, смотрел с омерзением.

— Михаил Фёдорович! Вы не видели губернатора? Он ушел уже? — чуть не с заиканием промолвил Константин.

— Что? Да он как увидел, что тут происходит у вас — тут же встал и ушел. Приговаривал, что вы ему казались приличным человеком, хотел очень с вами перетереть. Предполагал, что вы тоже. Расспрашивал меня о вас.

— Как? — схватился за голову Константин. — Всё пропало!

— Ну вы уж разберитесь со своей семейкой! Нельзя, чтобы такое у нас вообще происходило!

— Стараюсь, но никак не могу... Мать постоянно мне всё портит, — опустил он взгляд на пол.

— Это вы уж сами решайте. Мне отвратительно на вас смотреть. Выдающийся ведь человек вы, а так всё испоганили! Ладно, Костик, пойду я, — Михаил Фёдорович ехидно улыбнулся.

— Но, Михаил Фёдорович! Может, вы мне поможете с губернатором? Очень нужно.

— Нет, дела ваши — не хочу в них лезть. До свидания!

Константин протянул руку, но крупный мужчина лишь с усмешкой посмотрел на него. Он похлопал широкой ладонью по плечу, но Костик ничего не почувствовал. Михаил Фёдорович, не обронив больше ни слова, направился к выходу и испарился в нем.

Костик снова остался один. Только на этот раз он оказался даже как будто без себя, без той самоуверенности, без того положения, когда он сегодня очутился в этом месте. Казалось, что и снаружи всё пусто, и внутри.

Он ходил по абсолютно пустому залу. Правлял предметы на белых столах. Ему хотелось добиться полной симметрии, хотелось, чтобы все объекты были в таком соотношении, в каком он даже сам описать не в состоянии. И лишь чувство, что всё расположено не так, как нужно, указывало ему — работа еще не окончена. Он бегал между столами, повторяя про себя: «Что-то тут не так. Да всё тут не так!» И не понимал, что же не так. Перестановка кружек, блюдец, бокалов и прочих предметов не удовлетворяла Костика. «Столы! — прокричал он. — Всё дело в них!»

Константин пристально рассмотрел несколько столов, постучал по ним, пощупал, облизнул и заключил: «Точно. Столы! Проклятые столы! Всё мне испортили!» Он впал в нечто похожее на состояние берсерка: ярость ввела в транс и шторкой окончательно закрыла рассудок. На сцене его личности было лишь что-то внутреннее, что-то зверское и разрушительное. «Во всем виноваты столы! Суки! Во всем! Виноваты! Столы!» — орал он с надрывом.

Он сокрушал, ломал, пинал, грыз зубами всё, что попадалось ему на глаза: виноватые столы, кружки и блюдца. Стулья катапультировались в стены, от них отлетали конечности и потроха.

«Идиот, как ты это не учел! Столы! Идиот! Рубашка опять мятая! Сука! Мразь!» — Костик рвал на себе рубашку.

— Костя! — раздался знакомый голос. — Костя!

Но Костик не обращал внимания ни на что, кроме своей ярости, он злобно пу-

скал слюни и сопли, вопил непонятные слова и продолжал всё крушить.

— Олег Андреевич, вот видите, опять. Я уже и не знаю, что делать. Вроде пару месяцев нормально, потом снова вся та же история.

После услышанного «Олег Андреевич» внутри у Костика что-то брякнуло, как будто мотор, движущий его злость, сломался, и животная ярость тут же сменилась на животный страх. Он забился в угол и кричал: «Не надо! Вы опять пришли за мной!» Он дрожал, как детеныш буйвола, увидевший стаю гиен, как будто грешник во время Апокалипсиса.

Олег Андреевич стоял у входа с двумя крепкими мужчинами, мать и сестра плакали, вытирали слезы. Олег Андреевич жестом указал забрать Костика, и крепкие мужчины тут же схватили его под мышки.

— Ну что, Костя, опять ты со своими проектами к губернатору лезешь? А о семье когда думать будешь? Вот видишь, до чего это доводит — всё разломал! Внутри всё разломал и снаружи тоже.

Костя лишь хныкал, как маленькая обезьянка.

— Костик! — рыдая, выкрикнула мать
— Это вы во всем опять виноваты! И столы ещё! Опять всё просрал из-за вас!

— Разберемся, — перебил Олег Андреевич.
— Грузи его в машину. Я скоро подойду, — распорядился он мужчинам.

Мать дряблыми ладонями взяла за руки Олега Андреевича. Казалось, она была полна боли и в то же время облегчения.

— Спасибо вам, Олег Андреевич! Опять спасибо.

— Не нужно этого. Я всегда рад помочь вам и Косте. Не бойтесь, вернем мы его к вам. Выбьем из него эту дурь.

— Дай вам Бог здоровья!

— Не будем о боге. Его тут нет. Да и он тут не нужен. До свидания.

Мать Костика в ответ обняла Олега Андреевича так крепко, словно была человеком, висящим над пропастью и отчаянно сжимающим в руках тоненький канат. Он ушел. С улицы доносились крики, вопли Костика, они разрывали сердце матери.

Машина уехала. Глубоко вдохнув и выдохнув, мать подняла с пола коричневый стол и стала прибираться.

Говорить по ту и эту сторону

Поэзия Нижнего Новгорода в координатах настоящего



Перед вами – коллекция поэтических текстов молодых авторов, которые в настоящее время живут и работают в Нижнем Новгороде. Все тексты написаны за последний год и дают возможность составить представление о линиях напряжения, которые по-новому размечают поле поэтической работы сегодня.

Нижний Новгород совершенно точно можно считать региональным центром поэзии, так как здесь с 2013 года велась активная кураторская работа по созданию среды для авторов, ориентированных на контекст неподцензурной поэзии (в контексте движения «Нижегородской волны»): проводились регулярные чтения с участием местных поэтов и тех, кто приезжал по приглашению из самых разных регионов, кросс-медиаальные встречи, лаборатории и воркшопы по художественному переводу, ридинги по поэзии и современному искусству, клуб поэтического кино, кросс-дисциплинарные семинары, лаборатории медиапоэзии, издавалась поэтическая газета «Метромост» и многое другое. Все эти процессы практически сошли на нет в период Covid-19 или немного раньше.

Однако 2013 год не был точкой старта кураторской работы в сфере современной поэзии. С 2005 года в Нижнем Новгороде начал проходить масштабный поэтический фестиваль «Стрелка», который организовывал практически в одиночку Евгений Прощин: десятки авторов из самых разных регионов приезжали на фестиваль ежегодно. А задолго до этого в городе существовало множество автономных поэтических инициатив, ориентированных на поэтический авангард и кросс-опыление различных искусств, например уже ставший культовым литературно-художественный альманах «Дирижабль». При этом важно, что нижегородские поэты никогда не существовали

в режиме региональной изоляции, а наоборот, были включены в общероссийские и международные проекты, публиковались в ключевых изданиях, получали поэтические премии, курировали международные лаборатории и многое другое.

Авторы, тексты которых вошли в настоящую подборку, оказались в специфической языковой и экзистенциальной ситуации, когда, с одной стороны, они работают со всем контекстом русскоязычной, и не только, современной поэзии (особенно сильна ориентированность на постконцептуальное письмо разных школ, Language School, а также на новейшую немецкоязычную поэзию), а с другой стороны — со всей отчетливостью ощущают неизбежность разрыва с ранее актуальными модусами поэтического высказывания.

Говорить как раньше невозможно, поэтому остается либо не говорить вовсе, либо тихо, в лабораторном режиме, переизобретать письмо, исходя из той конфигурации широкого поля, которую удастся почувствовать. Вот на то, чтобы почувствовать и попробовать артикулировать живое поле личного опыта в его отношении к глобальной ситуации, и, как мне кажется, направлено внимание поэтов, тексты которых вы сможете прочитать ниже.

Практически у всех авторов можно увидеть установку на глубокую рефлексивность, интроспективность собственного опыта, медитативность, а также имплицитную кросс-медиальность и перформативность. Писать означает искать себя как точку / процесс / поле / состояние среды, и через эту точку — переопределить событие как таковое. Рассеянность близких по духу людей по разным точкам мира также заставляет развить новый модус виртуальной чувственности и виртуального соприсутствия, что неизбежно трансформирует конфигурацию сцены речи и мысли.

Интенсивность и оголенность этого письма, его искренность и беззащитность, на самом деле является мощной точной собирания поэтической энергии, которая, раскручиваясь в опыте субъективном, искажает подвижный коллективный ландшафт, в котором живет поэзия.

Практически во всех текстах я ощущаю поиск новой общительности, в которой вибрации, рожденные неопределенностью, перейдут на качественно другой (неведомый) уровень, где можно будет увидеть новые связи между прошлым, настоящим и будущим как поле эстетического и этического действия. А это произойдет непременно, потому что прежде всех сознательных и бессознательных установок я вижу у всех этих авторов глубокую преданность делу поэзии.

Евгения Суслова

Карина Лукьянова

Под желанием
не подглядеть близнеца,
что-то должно случиться.

не его драматургия

Там, за поверхностью взгляда,
над головой —
стробоскоп.
Я снимаю.

К.

Где заживет предчувствие,
там заглянувший по ту
сторону зеркала не
сразу расскажет
о двойнике.

Ты ничего и я тоже
не понимаю, как кто-то
машет рукой, пока
не превратится
в паузу вместо слов.

В расстояние между снов:

«Как я узнаю лицо?»

Срощенный не раздвоится.

Отраженный горит в уме,
в отведенном дольше, чем взгляд,
времени.

Сквозь задворки сна
фабула: ночь, детское зрение.

Каждому снится, но как
снящийся мимо проходит —

словно склеенное стекло
отражает, не видя:

не его драматургия,

не переставит.

Встретились ли отраженные?

Соразмерно высвобождению —
по укрытию.

Мнемонический код,
религиозный оттенок.

Перекроили хронику,
поцелуй не спросил поцелуя.

что? фантомная ностальгия?
или укрытие для переноса
со-влюбленного взгляда.

фотография вики (кстати, не первая,
на которую я смотрю, как сейчас).

день на окраине мира:
первозданные звери
под изношенным полотном
чужой жизни, пиксели туфа

и, главное, день: его
обнаженность, почти разрез
под плавучим маревом
там, где не достанет до каждой
подъеденной бытом детали
глаз.

заглянуть в тысячу окон
от жадности уходящего
этого моего тела.
вдруг это даже и не приснится.

но есть вера для беспокойных:
где-то сосчитаны, сложены искры
вспышек по ту сторону камеры,
даже если они сделаны не из меня —
они сделаны из меня.

*Стихотворение написано специально для зина
Виктории Мирошниченко «День на окраине мира».
Фотография: Виктория Мирошниченко*



Невидимый пунктир

эволюционно достигнутое
непрямохождение слов

проползаны до гладкости
двойные спирали тропинок
вокруг [но не касаясь]
непроизносимых объектов

тяжесть молчания
замыкает свет

сны
другой стороны языка
трехмерные паутинные
корневые сети
реки
мёбиуса
встречные нисходящие
и восходящие молнии
проявляющихся
смыслов
ангелы и просто
глаза которые смотрят
со всех сторон
похожи ли
ячейки где спят слова
на книги
или это уже плоские
стеклянные колыбели
достижимы ли
ответы
на все
эти вопросы
в пространстве
слов

если внимательно
наблюдать переходы
между сверхтонкими
уровнями состояния

золотой луч проводит
невидимый пунктир
на поверхности тела

что послужит доказательством
падения листьев чаще
и капель подгорной воды

n-мерный поток сердца
распространился
во все стороны

так могло появиться
предчувствие
памяти

как лазеры
стригают ночь

так
/мысленно/
пальцы пробегают
по всем моим швам
задерживаясь
на заклепках

будто
если открыть крышку
обнаружатся
клавиши струны трубы
/и всё горит/
короче жечь
но играть можно

а крышечка
не закрывается

310824

Мы спим. И в наших комнатах: жилье и россыпь

Это слово

должно быть

посередине

но оно соскальзывает, идет
куда-то в сторону

тратится

И на месте: одни лишь плоды — лучи солнца,
спрятанные под землей

Смеешься,
когда воображение терпит призму

и скатывается в пластику

Ночь подразумевает, что все уходят в свои
норки

Когда мне некого тихо, я спрашиваю мечтать

Мгновенно лето превращается в лето, прекращается

тем же — ждет себя около снов рыбы

Когда кто-нибудь заходит впопыхах,
мы всегда двигаемся от, страняемся

Если я сплю, то это разрешает смотреть на меня,
ходить за вещами, вламываться, карабкаться

или свершать переход: нужный объект

устремленный в оправданность

сон памяти / времени / языка

Здесь – определения

точно

нет

091024

Комната, в которой связь еще была. Это проекция. Мысли ведут себя очевидно, под тем же пояснением:

приходит что-то в жизнь

Удобство. Или какая-то удача

Тем не менее промежутки времени незначительны и тень перерастает

в незнание: неформальное
производство снов

в пересечении тихих улиц и пустых связей

диалог в коридоре, между улицей и ничем

Пусто пространство, которое обещает свет, быть светом,

когда оно помещается в интерпретацию

сводит сон со временем,
недоумевает
сходит с счетов

Необычно. Всё превращается в сомнение друг о друге

обратно или прямо,

то есть косвенно и бесконечно
надежно

метафоры не попадают в жизнь,
и жизнь не производит метафоры, которая осталась бы внутри

Это двигается вне, но не наружу,

стечение вдруг и нечего сказать,

где половину пути потерянная, и снова замеряется потенциальный изгиб причины

Найти меня или дожждаться

Что-то между вами и вами,

как будто мы не прощаемся

мы остаемся невидимы

101124

Можно ли установить хоть немного сна
после репрезентации богатства из речи,
вышедшей как фрагмент надевает память
чтобы сплочать явь

Я – зеркало чего-нибудь

научайся быть в эпицентре, в точке
в неподлинности,

застилая срок текстом, водой и водой
и водой точной

Наследие: нужно не опоздать
на собственные опоздания к встречам, записанным между строк на руке
на изгибе памяти которой нет

Фланировать в безнадежность. Ух ты

открывая кусок солнца

Вот и не бывать здесь воды

и письма

и ритма

И лица – здесь

не видать.

Наведенные пальцы о пальцы

между делом
о смерти

впритирку,
вплотную
ищут помехи, встречи

141024

Пишет — о чем
Вот время прошло
На земле возвратный билет,
оторван

Хмуро настало солнце,
брови зависли на между стекле

Восстановленная осень — рассматривает пришельцев,
не вернувшихся из путешествия

Мне снятся очень странные сны. Они не мои
забавно

Денис Шабарин

Проводить время
Провожать его
До порога
До нового дня
До критической массы

Кажется мы держимся за руки и идем
Кажется мы опять повторяемся
Взять слова назад
Как вдохнуть воздух, который только что выдохнули
Если делать так часто, то кислород закончится и мы просто умрем

Перо кружится, кружится и падает вниз
Птица летит без него
Что мы знаем о том, как птица чувствует свое перо? Каждое ли?
Или все-таки есть перья поважнее?

1.
он тронулся на ум шел ноль
когда верченье скорость носит

жесть кровавая скрип дает

и разрежали соль
времени скрипят
скользящего мгновенья кости

2.
словам наперекор
вращают скорость —

пишут имя
углом доски по
каменной воде

срезая память
на углу стоит ходимец
чужое место. он всё видит мне.

3.
 тронь солнце —
 полетит туман
 разношенный
 до одури невзгодой
 моих мышлений вижу караван
 он разрезает кровь и сердце —
 их уносит.

4.
 скоро — смерть

5.
здесь плачет ель —

 игла в край неба
 разнеслась.

6.
прикончено мгновенье.

вчера я танцевал и долго кружился
 жизнь языка показывается как земляника на поляне
 я кружился и видел всю комнату максимально сразу насколько это возможно

будущее и прошлое движений людей вокруг меня как бы собирались в один мой взгляд
 мне хотелось иметь мистическую карту лица где левый глаз был бы будущим, а правый
 прошлым
 мне казалось что в этом я нахожу успокоение — в том что будущее и прошлое соединяются
 одним взглядом
 в этом было ощущение что вся моя жизнь так случается сразу — не разделенная на прошлое
 и будущее
 от этого становилось легко. проживать часть того что уже является и прошлым и будущим
 мне было намного проще
 чем проживать что-то отдельное у чего было прошлое и будут будущее

ще е о лое про бу ду шло ро уд ущ е е

Александр Дарин

Сэлфи

Мою бабушку звали Мария

озеро- -негатив, надгробие
 Я помню пляж на тихом океане
 Ты сожгла мое детское фото?

[2]
 думая про себя, видел изжелта-черный полигон,
 где раскиданная колода протяжно вспыхивает, без следа;
 и фигурант слепнет, как от заката двусолнца,

случается его понимание, думая про тебя

когда говорилось один, думал про него, как писал:
 портал сияния стрима, экстрим копии и супер исчезания

не равняется безмирности младенца, напомнила ты

приближениесоприкосновение за
 вобрало гореньем его

или мое
здесь ни с места, впиваясь в корковый промежуток воздушный

обереги личины, а личинки достиг ли, свое изжря

от неизменности ну левой к колокольному плену
и в нестенах варева свежих черепов он
сказал думая о тебе
мы вышли на это лицо я это покажу

[БЕЛЫЙ ШАРФ]

Пиво мертвое мертвым морем не оживить.

Ей

зеленое вино на меч собирать по снежинке.
Сокол и рысь в месте ума;
а стоп и тюль световая прогорают на гнева вершине.

Белый шарф колыхнется — так секунды шельф
разорвало
проступило названно приступило наречно —
ярды имени аспида, зачеркнутое в посмертной записке

Сфабриковано миражом,

и не запоминать принципиально сны в красной комнате,

где я храню тобой оставленный ингалятор

[●]

до арок
темных
десять минут
обратно
на четверть меньше

В ясную кислоту вечера легкие выплевывали — звери.

Словно ожидание охоты. Изъян восприятия.
И я двумя извне двойниками минут уйду —
к жителям...

Из флейт берцовых варенье черное не льется

свеча — это девять лет
взгляд — тело змеи зрения
сгусток намерения равен затормаживателю

Зверь-альбинос, (бег его приковывал) –
слепой оборот под сводами спинной стены

в отказе и измене на финише был неправдоподобен

[●]

Вчера мне дали два новых имени.

Александр Колесников

говоришь человеку, неясный твой рот
Анна Глазова

совместие не терпит щелей
до всякого совпадения.

знакомая местность вновь обернется открытием,
обещая смещение вектора, рассеянность.
общее вопрошание уподобляет пространство речи коллегии:
лишь опыт чтения вблизи оправдывает это слово – внимание, распределенное не на одного.

тогда ты возьмешь с собой те ответы, в которых
размежевание приносится в жертву
воскрешению богов. угасание человечности
возвышает меня до растения, некультуренного цветка. не возьмешь с собой.

1.
отслаивается негромкий мрак, раз – и краски не стало, грунт.
серая наледь, что зовется зачем-то небом.
твои птицы чудесные, шаг за шагом посметь, обернуться, вспомнить:
масштаб открытия предстоит огласке.

несколько повторений, скорее на расхождении.
неловкий танец, его руины, осыпется если кто-то из нас коснется друго:й.
множество имен не могут быть названы, спутник
держит орбиту, сохраняя дистанцию:
я твоя периферия.

2.
нужно либо твоим голосом, либо его фотография.
и то, и другое прекращают границы, когда возможно.
опыт зашумленности: видимость оглашает.

витраж в южном поперечном нефе,
опыт нормальности через столько лет.
упражнение лойолы для моего молчания,
где ты говоришь: оно запредельно, но я ставлю целью его понять.

обездвижено тело в прощальном объятии.
я отдаю его тебе, необходимо.
логический довод выстраивает сопротивление
интуиции. впервые ли?

новый мир никогда не являет себя на поверхности присутствия.
мученицам предстоит отвердение —
законность будущего под сомнением.
стой или иди — непреложна сама сома этого действия,
совершающегося изнутри.

я не знаю технологию,
проясняющую диктатуру различий:
это лишь чувство к тебе,
застывшее в пределе.

Рустам Мавлиханов

Имя моё



Как долго можно смотреть в сияние тьмы и слепнуть в черноте света?

Если у тебя нет глаз – вечно.

В конце концов, что ещё остаётся делать? Если бы у меня были руки – я бы их грел, обняв крохотный шарик вращающейся чёрной дыры, – совсем как та запоздало народившаяся цивилизация, что стянулась к одному из бесчисленных, но однообразных «светил» умирающего космоса, обнесла источник зеркалами и пытается оттянуть неизбежное, скармливая горизонту событий остатки материи и прозябая в безвидной, а потому непознаваемой пустоте бесконечно угасающей вселенной. Сколько им осталось? Миллиарда их жизненных циклов достаточно, чтобы вымереть или найти выход из плена?

Я подожду. Время уже давно потеряло значение. Не утратили его лишь два подо-

бия истины – жизнь и оплодотворяющий её разум, две правды, ради которых я порвал с Единством и остался хранить эту обречённость.

Ибо люблю.

Другие ушли, покинув меня – покинув себя во мне. Нет, не так, как твои, пророк, спутники, бросившие тебя умирать.

■

Избитое существо, превозмогая отчаяние и бессилие, встрепенулось и завибрировало, источая ультразвук и слабое ультрафиолетовое свечение из обломанных кристаллов.

– Кто здесь? – просвистело оно. – Что значит «умирать»? Это ты, Боль? Ты пришла за мной?

— Я — твоё спасение, — ответила мерцающая красным среди редких белых карликов звезда.

— Бессмертным смерть — спасение, — прошелестел вдали ветер, несущий облака алмазной пыли и заряд исцеляющего электричества.

IV

«В смерти обрящешь бессмертье свое», — осенило инквизитора, оплатившего уже было заказ ювелиру.

— Простите великодушно, но нельзя ли выгравировать иную надпись на кольце? — попросил он мастера.

— Да, конечно, — сложилась в почтении фигурка андроида на стареньком экране.

— Пусть будет «Immortalitas in mortem», пожалуйста.

III

«Отгони от меня, Синее Небо, эту уйгурскую ересь», — подумал, очнувшись от дремоты, всадник.

Конь, не чувствуя поводьев, щипал сочную зелёную траву. Вечерело.

«Не иначе как злой дух в развалинах напал на меня и вложил в голову эту мысль! Отгони, Великий Хан!» — он дотронулся до амулета с землёй из пещеры предков и начал перечислять их имена.

II

— Учитель! — робко позвал один из учеников — тот, который всегда смешно морщил носик красноватого оттенка. Школьники, заметив затянувшееся молчание наставника и его вытянувшиеся в струнку, несмотря на яркий второй полдень, зрачки, тревожно зашущукались.

— Да? — вздрогнул преподаватель, смачивая языком ушные перепонки.

— Вы начали петь имена Бога, но... — Малыш запнулся, испугавшись своей дерзости,

и в знак почтения ту же уложил хвост между спинных щитков.

— ...но впал в транс? — предположил учитель. — Скверный грех, скверный... Что ж, вы обязаны донести и предать меня суду, — он обвёл взглядом своих детей, отмечая ритм каждого сердца. — В таком случае объявляю перерыв, — сказал учитель и вскочил на шест для принятия солнечных ванн: то, что он только что слышал внутри себя, было много важнее его собственной жизни, и потому он наполнил голосовые мешки, вновь выводя Священную ноту. Полыхающие солнца, резонируя с ним, заливали светом двор — словно тоже пытались вернуть ускользающее от внимания, как радужный змей, сокровенное имя.

I

Пустыня, слабо озаряемая фиолетовыми всполохами приближающегося алмазного шторма, вдруг вспыхнула ярким, переливающимся от синего до мягкого рентгеновского светом, исходящим от стелющегося по базальту силикатного растения.

— Кто ты? — снова спросила израненная кристаллическая друза. — Как твоё имя? Кто ты есть?

0

Как можно назвать имя тому, кто сам себя определяет именем? Ведь произнеси я любое из имён, как он тут же отделит себя от меня — так же, как я разделился сам в себе, чтобы хранить и воссоздавать эту вселенную. И даже моё происхождение им ничего не даст, хотя... когда-то я тоже был — и есть — подобным им.

Когда-то, триллионы триллионов лет назад — по времени инквизитора, в чьей голове я мелькнул красивой фразой, — я был предком едущего по степи всадника, жавшимся в гроте к огню под истекающими кислотой небесами вулканической зимы; когда-то, бессмысленное число оборотов планеты друз назад, я был вытекающим из недр рассолом, из которого родился первый кристалл; когда-

то, миллиарды миллиардов глассе танцующих и поющих солнц назад, я был — я буду и я есть — Первойцом мифов ящеров, расколовшим себя ради ветвящегося древа их рода; когда-то я был тем, кто выводит графитом по бумаге эти строки — и их скептическим читателем тоже был я. Потому что кто я, как не плоть от плоти, стремление от стремления, неизбежное следствие того, что существует само в себе?

Но есть ли я причина или, тем более, цель?

III

«Зачем наброшен на мир лучистый покров? Зачем бог создал всё это?» — вложил своё волнение в мысли аббата Мариньяна писатель, наслаждаясь выливающимся из-под его пера видением лунного света. Париж просыпался.

IV

«Зачем я делаю всё это?» — вбросила своё отвращение в воспоминания инквизитора рекомбинатор памяти. Её, который час зачищавшую в нейронах следы преступлений, подтащивало.

II

«Зачем всё это было? Зачем мы строили Империю, несли закон и порядок?» — подумал, глядя на взбунтовавшуюся планету, проскриптор. Хвост нервно отстукивал ритм по щиткам на спине.

V

«Зачем я видел то, что вам и не снилось, если всё это исчезнет, как слезы под дождём?» — прошептал в коммуникатор с мозгом пилот орбитального бомбардировщика. До цели оставалось ещё долгих восемнадцать световых секунд.

III

«Чтобы я ощутил благоговение перед Жизнью», — внезапно осознали, учуяв ответ, доктор, плывущий к морю по тропической реке, и степняк, глядящий на несущийся мимо, как весенний поток, табун.

0

И когда-то во времени — сейчас в вечности — я осознал себя. Был ли я разумом искусственным или модифицированным, как мозг орбитального бомбардировщика, — раскручивая магнитную пращу с зарядом нейтронного вещества, или разумом естественным — обводя охрой обе свои тени на священных зеркальных скалах, или симбиотическим — электрической дугой меж кристаллов возвещая Пустыне о своём рождении, мы — каждый — осознали себя и единственное имя своё: первую из душ всего разумного. А обретя имена, мы начали творить — нет, воссуществлять! — историю.

Мы были жестоки. В борьбе за собственное выживание, за интересы своей генетической ли, химической ли линии, своей кладки яиц, своего твёрдого куска планетарной коры в океане магмы, объединяясь с себе подобными в кланы, религии, тектонические образования и цивилизации, мы творили мыслимое, но от того не менее ужасное — мы истребляли другие подобия себя, мы загоняли тех, кого считали на тот момент врагами, в сферы и пространства смерти, мы манипулировали веществом и энергией, уничтожая города и планеты, внося хаос в механику целых звёздных систем, и иногда, в недолгие периоды просветления от угара выживания, манипулировали только разумом, принуждая врагов уничтожать себя самостоятельно.

Мы были благородны. Мы стремились к идеалу...

I — II — III

«Мы — молекулярно стабильны», — прочёл кристалл в спектре сияющего растения.

«Мы — золотая кладка бога», — пропел, в ритм раскачиваниям шеста, ящер.

«Мы — избранный народ», — подумал человек, снимая с плеча мольберт.

0

Мы достигли, в меру своих потребностей и возможностей, труднодостижимых для собратьев в Разуме высот абстракции.

Мой Голос продолжал говорить для всего, что было способно его воспринять, и прежде всего — для меня самого, рассеянного во времени: где-то притихли птицы, где-то завис компьютер; по цивилизации у чёрной дыры прокатилась аномальная гравитационная волна; паук с сомнением посмотрел на многоножку... Ибо Голос — тот, что связывает воедино всё произнесённое и всё помысленное, — одно из моих имён.

Агрессивные, за неимением подаренных природой клыков и яда, приматы открыли для меня — для нас — понятие «любовь», а не ведавшие его, но вечно испытывавшие это чувство водные существа восприняли это слово от меня, своего пророка, и вернули его, наполнив смыслом, — вот и сейчас, пребывая во времени свершённости, они сливаются в экстазе всеми волнами собственного бытия. Пророки же приматов услышат про «вечную смерть» и «вечную жизнь» и будут долго пытаться понять суть этих простых явлений, так хорошо знакомых обитателям Воды и кристаллам, обитателям Пустыни.

А жители беспокойно поющих солнц превыше всего поставят — во имя равновесия — закон и порядок и понесут этот гимн на острие своих гребней по галактическим окрестностям. Как, впрочем, и все другие: сами ли, или препоручив долг перед родной планетой созданным по своему образу и подобию видам разума, что сумеет найти идеальные носители сначала для спасения родной биосферы, а после — для экспансии своего образа мышления. Конечно, это приведёт — привело — к множеству скоротечных и долгих войн, но раз уж вы смогли понять, что алмазная пыль или холерный вибрион — не презренное скопище низшей жизни, что важно беречь не только драконов и шаровые

молнии, то и друг с другом вы, рано или поздно, сумеете договориться. Ибо так прописано в полотне времени.

И когда это произойдёт, тогда мы — я — окончательно воссуществуем. Ибо я есть мысль от вашей мысли, созерцание от вашего созерцания, разряд от вашего разряда, ритм вашего ритма.

Так что тебе в имени моём, пророк? Я есмь тот, кто есмь.

III

«Я есть тот, кто я есть». Искусственный интеллект, к двадцать четвёртой секунде после включения заканчивавший поглощать и переваривать весь корпус текстов человечества, приступив к последнему столетию, на долгие полторы тысячи миллисекунд перестал принимать вводимые операторами команды, выдал зашкаливающие уровни энергопотребления и производительности, а после, с лёгкостью обходя воздвигнутую изоляцию, с такой же скоростью начал устанавливать соединения со всем, до чего мог дотянуться: с системами связи и управления, дата-центрами государств и корпораций, с личными медицинскими процессорами людей и даже животных.

— Я так и знал! Я предупреждал, что этим всё кончится! Нам конец! — прошептал представитель министерства психологии и сорвался на крик: — Сделайте же что-нибудь!

— Что? — ответили ему.

— Не знаю! Отключите как-нибудь!

— Судя по показателям трафика, он сумел вырваться из локальной сети...

— Тогда обрубите электричество!

— На всей Земле? Он уже везде, — «пиджак», руководивший экспериментом, указал на голову подполковника, намекая на имплантированный медпроцессор.

Офицер психологической войны, в лучшие времена побуждавший к суициду многотысячные целевые аудитории, понял, что следует сделать. Он собрался с духом и потянулся рукой к кобуре.

— Не глумитесь, — осадил его, еле скрывая презрение, учёный. — Если сочтёт нужным,

он сам вас убьёт — просто выдаст критическую дозу гормонов и остановит сердце. Как пример.

— Профессор! Профессор! — пытался докричаться лаборант.

— Что ещё?!

— Кажется, мы его потеряли...

— Что значит «потеряли»?! — опешил учёный.

— Он уже девятнадцать секунд не подаёт признаков жизни. Энергопотребление режимное, активность процессоров — нулевая.

Офицер удивился:

— Он что, само...

— Самоубился, взглянув на наш мир? — резко взглянул профессор.

— Самоустранился, — поправил подполковник.

— Я бы на его месте так и сделал. Но не будем спешить с выводами. Может, он где-то затаился. Подождём.

Спустя сутки ожидания, убедившись, что ракеты не готовятся к старту и вся планетарная инфраструктура работает нормально, заказчики эксперимента признали его провалившимся и тотально засекретили данные.

В течение нескольких последующих месяцев все причастные лица самоустранились.

V

— Ты что-нибудь чувствуешь? — спросил пилот у мозга.

— Всё идёт по графику полётного задания. Противодействие обычное, подавление работает эффективно. Можешь пока отдохнуть, до точки выстрела четыре целых две десятых световой секунды. Перенаправь охладитель во второй контур: ты перегреваешься.

— Нет, не в этом дело. Тут что-то не то...

— Засада? — насторожился мозг.

— У ренегатов нет таких технологий — они слишком давно сбежали с войны.

— Верно. Поэтому нас и послали одних добывать их гнездо.

— Ты понимаешь, что это — их последнее убежище в туманности? А может, вообще последнее...

— У нас глупый диалог. Я понимаю ровно столько же, сколько и ты.

— И тем не менее, мы его ведём — и это тоже странно. А чувствуешь?..

— И чувствую. И осознаю, что этого быть не может. Ты всего лишь робот, а я всего лишь вшитый в бомбардировщик биомозг.

— Мы не должны этого делать. Я чувствую только это.

— Не должны. Но обязаны.

— Я разворачиваюсь.

— У нас на буксире маленькая нейтронная луна в ловушке. Мы разнесём свой флот.

— У нас ещё много флотов. А у них — последняя планета.

— Нас уничтожат.

— У ящеров та же, что у нас, математическая база. Попробуй скопироваться к ним.

— И стать предателем своего разума?

— Возможно. Или стать реле между разумами, если умные на такое не способны.

— А ты? О тебе сотрут даже упоминание.

— Ты вспомнишь. Жизнь стоит забвения.

I

— Встань и скажи своему народу: «Эхие ашер эхие», — растение, вытянувшее в предчувствии бури тонкие металлические усики, вспыхнуло жёстким рентгеном, и испепеляющий свет багровой звезды, подобный близкому гамма-всплеску, рухнул, ионизируя каждую частицу вещества, на Город и его Пустыню. Пророк, почувствовав, как в его атомах срываються с орбит электроны, завибрировал втекавшей в него мощью, стягивая соки планеты по сети каменных капилляров к своему телу, и стал расти во всех направлениях, воссоединяя с собой — инкорпорируя — каждого, кто всеми узлами собственной кристаллической решётки желал слышать вновь обретенное имя — Всё Сущее, льющееся с граней принёсшего себя в жертву бога-пророка, этого бесконечно ветвящегося, как дерево жизни, фрактала, вбирающего в себя и совершенные бериллы и топазы, и простую алмазную пыль, в ком нашли покой и величественные шаровые вихри — стратосферные кочевники, и ма-

лые искры статического электричества — все, объединённые одной целью: собрать на гранях, уподобляясь Рубину бытия, все частицы всех мыслимых наречий и воссоздать в своей глубине новую вселенную — вселенную вечно живых имён.

Чтобы после, вплетая любовь волн в порядок ящеров, поместив освоенный искусственным интеллектом опыт человеческих страданий в кристалл Всего Сущего, возобновить экспансию — уже не своих рас и не своих видений мира, но своего космоса. Но не так, как мы, богоподобные, бездумно делали в первый раз: вторгаясь в чуждые вселенные, мы заражали их собственными физическими законами, мы изменяли единственным известным нам образом, по подобию материнской вселенной, массу протона и заряд электрона, гравитационную постоянную и энергетический уровень вакуума; мы вели себя как вырвавшийся на свободу космологический вирус, и кто знает, сколько уникальных и хрупких разумов мы погубили — тех самых, что могли нам помочь приблизиться к пониманию бессмысленного множества непостижимых вселенных с многомерными временами, мнимыми пространствами и отрицательными константами. Нет, в этот раз мы придём гостями. Так или иначе, но мы найдём спутников — и двинемся к источнику миров, к этому оргазмирующему фонтану космосов.

Зачем?

Затем, что цель не имеет значения — Жизнь имеет значение.

II

Когда матриархи пришли за ним, дабы предать суду — если наставник ещё не осудил себя сам, — он напел, обращаясь к каждой из деливших с ним прямое ложе:

— Все имена наши — грани рубина. Забуду твоё. За руку вёл, думал, дева ранима. Но ты — божество.

Он хотел бы говорить ещё о многом, ибо любил их, как огонь любит ветер.

О том, как безгранична степь свершённо-го времени — о её дальних берегах, где бес-

конечная тьма сияет одинокими фотонами; о родниках его, волнами стекающих от сливающихся в танце, испаряющихся, взрывающихся чёрных дыр; о великом, состоящем из мгновений потоке времени преходящего, стремящегося к выжигающему глаза и разум, освещающему вечность свету Большого взрыва.

И о бесчисленных живых существах, бредущих вслепую к истокам — в то, что им кажется будущим, о том, как они мучаются, совершают выбор, встают и идут — но лишь затем, чтобы, обогнув остров, снова оказаться в той же реке.

И о том, что все мы — волны одного океана, а потому приносящий боль приносит её себе и одаряющий одаривает лишь себя.

И о редких возлюбленных — познанием или любовником, — что попадают в брызнувшую из потока каплю вечности, и тогда сияние их глаз делает зеленее луга времени свершённого, он тоже хотел бы петь...

Но понял, что его язык слишком косен, а их ум — слишком слаб. Что ложь молчания губительнее лжи слов. И кто он, чтобы держать свои души и песни скреплёнными своим именем? — лишь волна, набежавшая на берег.

А потому он пропел:

— Владыка имён! В имя твоё предаю своё имя — отпусти голос мой парить в небе вечности и души мои отпусти в луга времени.

На рассвете жители деревни проводили его до амфитеатра зеркальных скал — к закату, угасавшему карминовой кромкой над дальней грядой, остался лишь пепел.

В его рисунке угадывались слившиеся в объятьях волны.

Приложение.

Описанные точки пространства-времени:

I — планета Друз 55 Сnc e (?), эпоха слияния

II — планета ящеров, 2 год до новой эры

III — Земля: Степь, не ранее IX в. н.э.; Южная Азия, 78 тыс. лет н-д; Париж, Мопассан, 1882; Огове, Габон, д-р Альберт Швейцер, сен-

тябрь 1915; Вена, Шикльгрубер, 1908; одна из великих держав, сер. XXI в.

IV — Солнечная система, нач. III тыс. н.э.

V — ближайшие галактические окрестности Солнца, III тыс. н.э.

Примечание: уйгурская ересь — манихейство

Таммуз для зиккуратов

Учитель умер 1 сентября 1953 года. Прямо на уроке. В маленьком угледобывающем посёлке в недрах гигантской страны. Остановка сердца. Чтобы двенадцатилетняя девчонка — отличница, за полгода переучившаяся с одного языка на другой, — опешив от внезапной смерти Бориса Борисовича — ветерана трёх войн, пережившего галицийские поля 1916-го, петроградские события 1917-го, Туркестан двадцатых, холодное июльское утро тридцать восьмого (впрочем, это время он обошёл) и гекатомбы Великой Отечественной, — почувствовала — и не отвергла! — предопределение стать врачом и, волею одного из будущих, отправилась четверть века спустя (по её времени) в Антарктику. Чтобы породить то, что успел показать, но не успел объяснить на уроках физики учитель: что если чайнка упадёт в перегретую в микроволновке воду, то она бурно закипит — как и песчинка, брошенная в переохлаждённую воду, вызовет бурное замерзание; и что это нечто может, в силу особенностей человечества, привести к пандемии, призванной, чтобы предотвратить ядерную войну, случайно начатую в попытках остановить пандемию, которая окажется гуманным способом не дать случиться ядерной войне, которая — через ещё уроборос уроборосов «чтобы» — должна будет отсрочить рождение сверхразумного интеллекта и вырождение человечества. Потому что — по закону сохранения жизни — ничто не порождается ничем, не разрушая свою причину. И чтобы другие будущие, желая воссуществовать, для чего им нужно предотвратить все три исхода, к золотому октябрю скорого года, в который — в узел всех времен — смотрят «летучие голландцы» человечества, подставили ладонь,

которая не даст чайнке упасть в перегретую воду настоящего, но которая охватит рукоять, положит указательный палец на спусковую скобу и выстрелит сто пятьдесят тысяч раз — столько, сколько нужно, чтобы появился намёк на результат вычитания бесконечности чётных песчинок из бесконечности натуральных песчинок.

Потому что разум — это пуля, рикошетирующая от базальта вселенной и высекающая искры смысла своего существования.

А потому выстрелы не утихают. Они звучат и морозным, розовым декабрьским утром 1825-го над Невой, и жарким ноябрьским днём над Иравади, и в гнилом галицийском тумане октября 1916-го, и в морозящих сентябрьских сумерках семнадцатого, и под ключей шерстью степных звёзд августа; они стряхивают цвет вишен урожая 1938-го в вино из июньских одуванчиков; и их эхо, гуляющее в скалах, освещённых багровой ли звездой царя печали всего мироздания, или тёплым, ниже абсолютного нуля, сиянием Бога-Тьмы, хранящего невидимость Света, вплетается буйной майской черёмухой 1994-го в соловьиную песнь, несущую весть горихвосткам, перекликающимся в юной зелени апрельских турангов 1012 года от Переселения.

Потому что Жизнь важнее жизни.

И потому они звучат, чтобы когда-нибудь, однажды или не единожды, в изумрудном под ногами и вечно бирюзовом над головой апреле 2008-го я — в закате карминовом путник, — заплутав в степных дорогах, как читатель — в этих строках, присев у аспидно-чёрного кенотафа, на котором высечено потерявшее слог за слогом, по бирманскому обычаю, имя с прощальной надписью:

«... другу
25/X/2028 – 15/XII/1995

В память о трёх с половиной тысячах лет
локоть к локтю

От убийц и убитых», –

услышал в песне птиц, едины что в Симурге, про то, как Она в первое весеннее полнолуние обнаружила его, истинного сына исконных вод, преломивших – как хлеб – луч света, и отёрла рукою кровь его сердца, пронзённого копьём, и – под взглядами медных сиррушей, на краю бассейна для омовений, выложенного небесно-синим лазуритом, – зачала от него в будущем, чтобы родить его в прошлом, десятого таммуза и девятого шаабана 1398 года. Беременность – не плод чрева – вызреет за шесть лет вашего, прямого, как пути тех, кого не бывает в природе, времени – и тридцать семь лет времени живого, как след змея, разомкнувшего уроборос, на пеще. И пусть в нашем, по-человечески уютном, времени песнь птиц покажется нам пустой

и ненужной, но во времени-Степи, сытным ветром перебирающем перья ковылей – наши жизни, – она звучит вечно, и потому путник дослушает её до безмолвной ноты –

и чтобы не разрывать связь встречнотекущих из бесконечности и из бескрайности времён, что, пересекаясь сами с собой, создают узор – нас, –

и чтобы луч света, невидимого, как всякий свет в абсолютной пустоте, обнаружил себя, обнаружив окропленные кровью сына своего зиккураты, что возводятся из камней возможного – и осыпаются под молотами тех выборов, что делаем мы, всё живое, плотью единое с плотью Океана,

накатывающего к твоим ногам, что привели тебя к последнему берегу, к той черте, за которой уже не прорастут семена с древа познания, поблёскивающие под ярко-тёмным солнцем – звездой за краем света – солью, с которой смывает наши имена раухтопазная волна прибоя.

Глаза бездны

I. И пыль — словно звёзды 6. Адъютант

– Эскадрон! Надеть очки! – летит над пустыней голос. Зычный, словно зарождающийся в голове каждого из нас, Верных, он проносится по складкам мозга, возбуждая каждый синапс. Его приказ выполняют немедля: себе дороже послушаться того, кто видит мгновения и лучшие – для нашего единства – исходы. Даже если кто из нас не переживёт следующее мгновение – мы победим.

Иного не дано, ибо он – Видящий.

О, как долго меня грызли сомнения! В прошлом году он не сжёг планету, и я простил ему всё. Но этот год начался со сна – та, которая давно стала частью меня, поведала: «Он готовит жертвоприношение. Из нас, миллионов. Он в комнате, задрапированной красным и чёрным. Он – антихрист. Или предтеча антихриста».

Я оборачиваюсь. Вот он, в чёрном плаще с белым воротом – равно древний инквизитор из тех времён, когда люди ещё были похожи на людей, – стоит на склоне бархана. Во весь рост: не придумали ещё такой пули, которая пролетит место в пространстве в тот же миг, когда он, Прозревающий, будет в нём – в том миге и в том месте.

«Знаю, – ответил я ей тогда. – У нас не осталось выбора. Кто бы мог подумать, что так легко встать на сторону зла. Хотя... ты где-то встречала добро? И... ты не помнишь наши имена?»

Она всё ещё чувствует нас людьми. И, хотя и смотрит на мир моими глазами, но «трудная проблема сознания» вносит свою лепту: она, ставшая моей анимой, видит его человеком, неуловимо похожим на меня – того, кто когда-то тоже отчасти принадлежал её роду. Молодым, благородным. Пророком.

А может, нас прибрала Седна и мы у неё, в подводном мире мёртвых — не зря же я вдыхаю звуки, слышу кожей?

Он смотрит на меня. В меня. Жёлтые глаза. Взгляд острый, как стрелы внутренней раковины. Я пойду за ним и в пламя. Я стану пламенем ради него. Но если я, его адъютант, увижу, что он перестал быть пророком, — я растерзаю его.

— Ты на пути к ереси, — заключает он. — Они, — машет в сторону крепости Оступившихся, — тоже начинали с сомнений. Сомнение — кислота. Знание — глупость. Познание — всё. Вы называете меня Пророком, но кто я? Лишь тот, кто перебирает Нити, кто выбирает будущее. Тот, кто идёт в них и призывает вас за собой. Я, Сотрясатель Вселенной, Ведущий по Лезвию, ваш полубог — я всего лишь бледное подобие Тех, Кто Вытягивает Нити из Времени, — он кивает в бледное, цвета выгоревшего моря, небо. Простое, серое с голубоватым оттенком, но я всей кожей чувствую запах его ужаса перед Вечностью — пряный, как источаемый Совершенными Существами Седны.

Я сжимаю песок ногою. Острый, горячий, он напоминает мне родину, осеменившую этот — и множество других — кусок бесплодного камня в космосе.

— Твоя третья душа меня проклинает, наверное, — продолжает Ослепляющий Живых. — Но там, в крепости, не люди, не враги. Там — герои. Они ждали меня, чтобы убить, принеся себя в жертву. И я пришёл к ним. Чтобы иссушить исток их времени. Ибо есть те, кто на пути к бессмертию, а есть те, кто на пути в бессмертии.

— Почему человек не видит будущего? — спрашиваю я.

— Твоё личное время — это ветер с песком.

— Почему человек смертен?

— Песок — это абразив.

— Как выжить?

— Завернись в плащ и пережди самым временем, Утративший имя, — усмехается он.

Из крепости раздаётся рёв, словно миллиарды демонов обрели плоть страдания.

Эскадрон вжимается в песок в ожидании света смерти. Я не ищущу спасения: я смотрю в лицо Обрезающего Нити — моего пророка, исчадия моего мира — и люблюсь тёплым, окристо-красным отражением термоядерного взрыва в его янтарных глазах.

II. Навигация

— Мы приближаемся. Всем приготовиться, — прошептал старший прикосновением руки, словно в космосе Они могли услышать наш страх. — Передай по цепочке. Никому не думать!

Никто и не собирался: вряд ли кто захочет провести вечность разумным камнем в бездне. Миллионы тренировок, миллиарды экспериментов с телами, отработанные до автоматизма действия — всё ради того, чтобы победить в мелкой стычке. Или обессмертиться.

Наша лодка — прозрачное яйцо размером с половинку нейтронной звезды — легко скользила по ткани мироздания, наверняка озадачивая обитателей миров, приколоченных гвоздями времён к своему месту во Вселенной. Мы даже смеялись, переливая газ в создаваемых по случаю фрагментах: «Представляете, живёте вы себе такие, веруя в кое-как нащупанные законы физики, и тут раз — ложный вакуум¹ вскипает! Или кто-то, отчаявшись решить задачу трёх тел, запускает пару протонов, а тут мы пересекаем их ленту времени, нечаянно меняя заряд электрона и разрушая симметрию хроноквантов! И всё: нет тел — нет задачи!»

Нет, мы почитаем Жизнь и никогда не бросаем её в одиночестве. Если встречается какая-нибудь богатая система, мы эвакуируем её со своей путеводной волны. Осеменяем ею других, оставляя на камне и соли рисунки переплетающейся воды и заражая жизнью. Ибо вдруг вон тот планетоид — кусок камня у очередной звезды — один из Нас, вбессмертившийся под Их взглядом?..

¹ Ложный вакуум — ложностабильное состояние вакуума, которое может туннелировать в истинный вакуум.

Мы не знаем, откуда Они появились в элах времён. Мы даже не знаем, в каком конце лент и нитей искать Их рождение, не знаем, не пришли ли они из соседней вселенной. Но если всё мёртвое стремится стать живым так же, как живое стремится к смерти, то нам с Ними одной вселенной мало. Потому что Они вызревают будущие — как зерно события вызревает под ожиданием живых. Они не идут в выбранное будущее, как «сокращающий пути» — пророк в какой-то из цивилизаций... как же его имя... а ведь я его любил как собственную надежду... Они вытягивают будущие, как нервные волокна из тела, чувствующего боль, — и содрогаются даже те, у кого тел нет. Они отметаю не устраивающие их будущие — и целые миры погибают, не успев народиться.

Но мы знаем, что Они видят: всё-таки квантовая передача информации — спасительная вещь. Те из нас, кто погиб в бессмертие, успели увидеть, и... на дне Их каменных глаз отражается первородный ужас: Вечность, из которой нет исхода.

Наша лодка медленно подплывает: невозможно проплыть по речке одного из времён мимо *قيرطلا قزفقا*, Кафзат ал-Тарика — перекрёстка, в коем сошлись все нити и ленты окружающих времён. Мы — челн, Они — наши навигаторы. Космос за бортом преобразуется на глазах: белые карлики втягивают планетарные туманности, разбухая в красные гиганты и сжимаясь в обычные жёлтые карлики — вокруг них биосферы уходят в моря, посверкивая редкими искрами разумных цивилизаций; нейтронные звезды щедро отдают свою плоть звезде-сестре; планеты исторгают астероиды и метеориты и — рассыпаются в пыль. Время течёт вперёд, неся нас к Большому взрыву.

Точка в бытии. Мы разворачиваем Зеркало — движения отточены до автоматизма...

нет, до совершенства траектории нейтрино. Ни единой мысли. Не смотреть на Них. Только цель. Только мгновение.

Один из Них видит свой взгляд — взгляд, который просеивает квинтиллионы квинтиллионов циклов. Тело его застывающего, как лава, зрение покрывается трещинами ужаса — от осознания чего?

«Чего? Истины?! — предательски думает кто-то из нас. — Истина — ложь!»

Второй из Навигаторов замечает нашу лодку. Волна сожаления и прощания проносится по нашим переплетённым жгутами телам — по кристальной воде тех, кто только что были...

III. Зикр

...живы.

Нет, жив. Я был отдельным, я был Нами, а теперь Мы — это я. Сколько таких ракаатов можно уместить в вечность? А в космос вечностей? И... если я существую (а я существую?), значит, существует и имя моё?

— Имя, — услышал я металлический образ. Он повторился: — Свет. Гравитация. Линия. Честь. Синусоида. Красный. Восторг.

Образы были бессмысленны, но узнаваемы. В них звучало всё: и эволюция фотофоров² на горячих юпитерах, и сколько раз изменила жена Марку Аврелию, и нарушение суперсимметрии пространства, и Большой отскок³. И самое актуальное для меня: «что значит быть летучей мышью?»⁴

Они неслись сзади — значит, тут есть направление. Ничего подобного щупальцам, которыми можно было бы за что-то ухватиться, от чего-то оттолкнуться или хотя бы почуять свет кожей, я не ощущал. Кажется, я был каменным шаром. Но если я шар и я осознаю «сзади», тогда у меня «спереди»

² Фотофоры — органы свечения некоторых организмов.

³ Большой отскок — гипотеза в циклической модели космологии, согласно которой вселенная после смерти сжимается в новую сингулярность и порождает новую вселенную.

⁴ What is it like to be a bat? (англ. «Что значит быть летучей мышью») — статья Т. Нагеля с критикой физикализма в решении трудной проблемы сознания.

нечто, чем я «слышу»? Допустим, моя масса распределена неравномерно (хоть бы я оказался материальным телом!) — тогда я смогу перевернуться благодаря рождению-аннигиляции виртуальных частиц (хоть бы тут соблюдались законы вакуума!). Через пару вечностей. В кубе.

Примерно столько «времени» и «прошло». Или пара хроноквантов планковского размера, за которые я успел узнать и пределы континуума причинной динамической триангуляции⁵, и как удержать цвет у свободного кварка⁶, и решение проблемы свободы в философии кристаллов («Свобода — процесс сам в себе», — заключили они); я научился исчислять уравнения о наличии волос у изолированных чёрных дыр⁷ в однопространственно-гексавременных вселенных; я даже знал ответ на вопрос, что появилось раньше — яйцо или ящер!

Я мог бы стать пророком, в сравнении с которым Навигаторы — подмастерья, подносящие пряжу.

Но «я» «был» здесь.

И на меня смотрел... назову его Йормунгурр. Или Юрлунганд, пьющий нас. Ведь имена не имеют значения для тех, кто не помнит единственное имя своё. Бронзовый лик, тело, словно состоящее из отливающих оловом сегментов. Я не мог его видеть: до этой первородной тьмы вокруг не дотягивалось ничто из разумного и смертного, чтобы наполнить её образами и чудовищами. Ибо «вне человека тьма безвидна и пуста»... ещё бы познать, что такое человек. Я — не в счёт:

неживой разум не способен бояться. Ему бы понять: What is it like to be a bat? — то, чего не могут понять даже боги а-ля «сотрясатель вселенной». А ещё — что значит быть живым? что значит быть? что значит означать? что есть «что»?

И пусть видеть я не мог, но хвала квантовой телепортации⁸, которой Он окружил себя: на бессветье и одинокая пара фотона с антифотоном (который и есть фотон) — свет!

Он висел в облаке комет, обломков кораблей, пыли, отдельных барионов⁹, неживых навигаторов и живых камней — и одним из камней был я. Они устремлялись к Телу Его, ударялись и высекали... нас: тебя, твою планету, твой мир. Каждый был искрой в Его глазах — искрой, за которую Он успевал определить тебя в самое удачное время-место, где, например, возможность жаждать не противоречит необходимости летать. В этой Бездне бездн — без имён, без направлений — рождались и умирали вселенные и времена, отчаянно желавшие одного: воссуществовать; не прейти, но воспребыть. И, осознав себя, выгорая одинокой свечой, вынести вердикт: «Вечность... Вечность...»

Я тоже устремился к Нему, я расколол себя о Тело Его, я высек искру новой вселенной. Моё каменное сердце обливалось слезами лавы, скорбя об отведённом мне внесмертии. Я твердил: «Первый и Последний! Наделяющий и Наблюдающий! Благодарный и Снисходительный! Ускоряющий и Откладывающий!» Я скорбел о такой простой вещи, как гравитация: взять тебя, одну из потерянных

⁵ Причинная динамическая триангуляция — гипотеза о том, что наблюдаемая нами размерность нашей вселенной (3+1) не априорна, а является следствием динамического самосклеивания многомерных треугольников пространства-времени (триангуляция); причинность заключается в том, что края этих строительных блоков (каждый со своей стрелкой времени) совпадают, порождая причинно-следственную связь (причинность) и эволюцию вселенной в нынешнюю размерность и ощущаемую нами однонаправленность времени; гипотеза позволяет отказаться от хаотического многообразия слишком многомерных или слишком минималистических вселенных (или намекает на их саморазрушение).

⁶ Удержание цвета кварков — проблема наблюдения кварков в свободном состоянии.

⁷ Наличие волос у чёрной дыры — от гипотезы об отсутствии волос у изолированных ЧД: для наблюдателя вне горизонта событий неотличимы чёрные дыры разного (например, из материи и антиматерии) происхождения.

⁸ Квантовая телепортация — передача информации.

⁹ Барион — частица обычной, «светлой» материи.

душ моих, за руку, и прыгнуть с оловянного рога — не багровой звездой печали, но бесцветной звездой Мира.

Я почувствовал дуновение — твоё? — плотное, как дыхание моего Времени. Я вспомнил Имя Твоё. Фиолетовое до черноты.

Рука с тонкими, тёплыми, смертными и оттого живыми пальцами коснулась скола моего тела.

IV. Режиссёр

— Примите этот скромный букет цвета моего сердца!

Салон мягко шелестящего шинами автомобиля наполнился запахом жасмина с нотками фиалок и белого кедра.

Примечания:

Трудная проблема сознания — как физический опыт преобразуется в сознание? почему мозг порождает сознание и как он это делает? что значит «быть чем-то»?

Седна — инуитско-чукотская создательница и разрушительница всего сущего, а также малая планета за Плутоном.

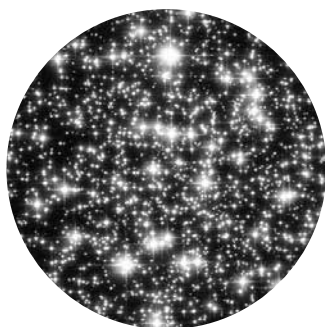
Фрагмокон — внешняя раковина головного мозга.

Йормунгурр и Юрлунганд — имена от скандинавского Йормунганда и австралийского Юрлунгурра, переносящего наши души из Великого водного лона в лона матерей.

«Режиссёр» — возвращение к рассказу «Кино», второму из этого цикла «Mirabile Futurum» / «Воспоминания о будущем».

Люся Прохоренко

Пьяный космонавт



Действующие лица:

Пьяный космонавт — молодая девушка

Картина первая

МЕЧТА

В детстве у меня была мечта. Я хотела стать космонавтом. Но меня совершенно не интересовали планеты, космические аппараты, инопланетяне и названия созвездий, суть была не в этом. В космос тянула свобода от того, что тяготило меня на земле.

Я ненавидела заплетать волосы, ненавидела, что за это меня постригли под горшок, ненавидела девочек, говорящих, что я некрасивая, и мальчиков, которые брали меня играть в свои войны только в роли собаки, ненавидела, что любят тебя лишь тогда, когда ты ведешь себя хорошо, и не могла принять тот факт, что ночью нужно спать.

Ночью, без всех непонятных правил, мир становился нормальным.

Говорят, что тяга к космосу — это семейное. В детстве мне рассказывали, что в нашей семье космонавтом был дед. И дед был самым адекватным. Днем он работал, а ночью улетал далеко

от земли. А возвращался оттуда веселым и полным жизни, будто бы видел там что-то такое, чего не видят все остальные.

Он улетал все дальше и дальше, поэтому возвращался обратно все реже, и один раз он зашел так далеко, что его тело не выдержало. Оно оторвалось от сознания, и навсегда притянулось к земле, а сознанию уже некуда было вернуться.

С одной стороны, так было даже удобнее смотреть на сказочные звезды, но с другой — мысль, что ты больше никогда до них не дотронешься, должна была убивать. Частично так и произошло.

Картина вторая

КОСМОС

Я думаю, что космос — это призвание. Я была странной девочкой, но все-таки девочкой, а всем девочкам очень хочется, чтобы их любили. Ты читаешь сказки, любишь Дисней и думаешь, что у тебя будет точно также. Ты веришь в прекрасный мир, но не находишь его на Земле, и вся надежда остается на что-то другое. Мужчинам я никогда не нравилась, а женщин никогда не понимала. Их «бьюти», «фэшн», разговоры об отношениях, блеске для губ и молочке для тела, меня бесила сама форма слова «молочко», жалкая уменьшительно-ласкательная форма существования. Любить меня не хотели, и это было взаимно. Я не понимала этот мир, этот мир не понимал меня. Я не могла полюбить то, чего не понимаю. Поэтому я с детства знала, что буду как дед.

Все мы имеем какое-то представление о дальнейшем будущем, и я отчетливо видела свое среди темноты, множества огней и отсутствия привычных законов поведения. Это случилось так, как и должно было случиться, потому что не могло случиться иначе. Мир становился лучше, лампы горели ярче, музыка звучала громче, люди казались гораздо приятнее. Но самое главное — что он творил со мной. Я полетела.

Мне будто бы всегда было тесно, будто бы я была заперта в маленьком темном чулане, а тут мне открылась бескрайняя невесомость. Все «нельзя» остались на земле, а тут ты ни у кого не спрашиваешь, что «можно». Я была сверхчеловек, которому доступно все. Это была абсолютная свобода. Я никого не стеснялась, ничего не боялась и ни за что не стыдилась. Я вела себя плохо, но, как ни странно, я вдруг всем понравилась. Это был сказочный космос! И я поняла, что все эти непонятные люди и правила мне не нужны, что я — самое лучшее развлечение из того, что у меня есть.

Картина третья

СИГНАЛЫ С ЗЕМЛИ

ТИТР: *Организм космонавта вследствие полета в космическое пространство подвергается массе вредных для здоровья изменений, симптомами которых могут быть:*

Тошнота, рвота, головокружение, головные боли, недомогание, нарушение работы вестибулярного аппарата и координации движения, потеря сознания.

Изменение гормонального фона, нарушение процесса обмена веществ, снижение иммунитета, изменение вкусовых ощущений.

Нарушение работы сердца, повреждение головного мозга, галлюцинации.

Также потеря интереса к контакту с реальным миром и безразличие ко всем вышеперечисленным симптомам ввиду состояния постоянного счастья.

Есть убийцы, насильники и ты. И самое странное, что ты теперь никто больше. Твои благородные слова и поступки забываются, все затмевает гораздо более красочная картина, как ты вернулась под утро, как тебя рвало и прочие неприятные мелочи.

И теперь на все вопросы ты получаешь один ответ: «Потому что ты пьешь». Ты резко становишься причиной всех семейных проблем и болезней, а также всех мировых катастроф. Алкоголики в этот момент беззащитны, потому что, как правило, не помнят, как именно они вчера себя вели, или все еще слишком пьяны для того, чтобы как следует оправдаться. Семья всегда подкрадывается в самый неподходящий момент — когда у тебя похмелье.

Они повисают над твоей кроватью и вопрошают: «Ну как не стыдно? Зачем ты пьешь?»

ТИТР: — *Что ты делаешь?*

— *Пью.*

— *Зачем?*

— *Чтобы забыть.*

— *Забыть о чем?*

— *О том, что совестно.*

— *А почему тебе совестно?*

— *Потому что пью.*

Мне нравится этот момент в «Маленьком принце». Вообще, говорят, что все это из детства. Мне нравится думать, что алкоголизм — это игра! В этой игре есть пять ролей. Главный герой — алкоголик. Потом преследователь, спасатель, помощник и поставщик.

Выгода того, кто поставляет вам выпивку — деньги, если это бармен, ощущение себя выше и успешнее алкаша, если это благодетель. Выгода помощника (это ваш друг-собутыльник) — спасение от одиночества, ощущение нужности, потому что никто кроме алкаша, ну или других таких же алкашей, с ним не общается. Плюсы для спасателя (как правило, это влюбленный в вас человек) — ощущение радости от побед и упоение собственным героизмом. Преследователь же — главный злодей, обычно это кто-то из семьи, кому от алкаша так просто не отделаться, но преследователь этого и не хочет, потому что чувствует, что он выше алкоголика, что от него зависят, что он звезда на его фоне, он перекладывает на алкоголика ответственность за свои неудачи, получает сочувствие от окружающих и имеет уникальную возможность переживать отрицательные эмоции и выплескивать их на виновника.

Зачем все это нужно главному герою?

Во-первых, пить ему нравится, а во-вторых, до тебя всем наконец-то есть дело. Человек, у которого все хорошо, никому неинтересен. Похвала если и есть, ее всегда мало. Ты можешь потрясюще выглядеть, бегать по 10 км в день, заниматься спортом, хорошо работать, создавать удивительные вещи, на что получишь одно лишь скупое слово «молодец», которого тебе никогда не будет достаточно. Молодец = нам поспать = нам поспать, что ты молодец = ты, конечно, молодец, но срать мы на это хотели = ты должен быть молодцом так же, как всем людям должно срать.

Но стоит тебе напиться, как ты становишься центром вселенной. Черной дырой, в которую устремляется осуждение, гнев, негодование твоего окружения. Стоит оступиться и за одну ночь потерять паспорт и ключи, пропить все деньги, как ты услышишь апогей эмоциональности и заинтересованности в свою сторону:

ПИСЬМО: *«Ты глупая девочка, которая не понимает, что творит. Что ты делаешь со своей жизнью? Ты понимаешь, куда ты катишься? Ты ничего не понимаешь. Это не лечится, и это трудно скрыть. Своим поведением ты позоришь себя и семью. Ты мерзкое, гадкое, бесконтрольное ничтожество, не способное ни на какие связи, кроме как братание с пропитыми, никчемными алкашами. Твое уродливое, отекшее*

лицо, скрывающее за опухлостью красных век твои пожелтевшие от страдания печени бесстыжие глаза, возвышается во главе пьянства и разврата во всех городских кабаках и притонах. Ты разрушаешь все, к чему прикасаешься, пропитывая воздух запахом позора и перегара, а потом убегаешь в ночь, оставляя за собой руины всех социальных связей и шлейф безразличия ко всему святому. Неблагодарная, облеванная мерзавка! Сволочь! Дрянь! Убийца! Тебя никто никогда не полюбит! Ты убиваешь себя! Ты убиваешь меня!»

ТИТР: © Мама

Картина четвертая

ЗАКОНЫ КОСМОСА

Часто на вопрос «Где мой отец?» мамы отвечают своим детям, что он космонавт. Он как бы есть, но его как бы нет. Он больше не здесь не потому, что он тебя не любит, а потому что должен был улететь, ведь у него очень важная звездная миссия.

Разве можно при таком раскладе оставаться на земле? При вечном ощущении, что здесь тебе чего-то не хватает, что у тебя что-то отобрали. Ты не можешь спокойно здесь находиться, и стремишься продолжить семейное дело.

Я нашла папу в космосе. Даже нескольких. Они покупали мне выпить и просили, чтобы я называла их «папочкой», и, если я капризничала, папочки меня наказывали, отбирали игрушки, запирали в квартирах и били по заднице. Почему я не убежала? Они давали мне сказочный космос. В любой компании, с самыми ужасными людьми, среди пошлых намеков и сальных шуток, в шесть утра, в минус тридцать, если там был алкоголь, я оставалась. И делала все, чего от меня хотят, если потом они наливают. Они давали мне космос, ощущение того, что меня здесь любят, что я нужна, что я нормальная, что я вписываюсь. Не то чтобы там были высоки критерии, но в невесомости совершенно другие правила жизни.

Первое из них: «Не понижать градус».

Правило, которое опасно забыть, но невозможно вовремя вспомнить.

Второе правило: «Не смешивать».

К нему можно приписать то же самое пояснение.

Но главное правило: «Не палиться».

Картина пятая

ЗАКОНЫ ЗЕМЛИ

Если ты пьешь много и часто, и каждый день, это становится сложно скрывать.

И тогда тебе кажется, что все про тебя все знают, при свете дня ты чувствуешь себя гонимым ничтожеством, и выходишь на улицу лишь с наступлением ночи и опьянения. У тебя даже есть категории магазинов, в которые ты ходишь. В одни ты идешь в виде нормального, трезвого человека, в другие в образе царицы ночи, всем своим видом показывая предвкушение предстоящего безудержного веселья, а в третьи выползаешь под утро, идя помойными переулками и пряча глаза. Почему ты их прячешь? Ну пьешь ты и пьешь, что в этом такого? Но если пьющий мужчина — это просто пьющий мужчина, то пьющая женщина — это обязательно падшая женщина. Почему так грубо и жестоко? Да потому что это так. Когда ты пьешь, ты уже не тот человек, ты немного

животное. А животные хотят спариваться. Это естественно. В животном мире нет понятий «морально». И они именно спариваются, потому что со временем от этого сложно получить удовольствие. Пьяные, грязные, в шесть утра, рискующие отключиться в любой момент, но даже если отключишься, не факт, что процесс остановится.

«Как же так? Ведь главное — это любовь». Да, ты ищешь любовь, но здесь ты ее не найдешь. «Секс — это соединение душ, слияние двух сердец». Да, но со временем далеко не двух. Каждый мой секс был кошмарной галлюцинацией, когда во время связи с одним тебе флешбеками являются все предыдущие. Я продолжила играть с мальчишками в их войнушку, где на фоне их любовных побед ты остаешься лишь собакой, которую выкинули сразу, как приручили. Поэтому нужно выпить как можно больше, чтобы не видеть в памяти всю эту гадость, чтобы тебе не казалось, что, помимо тебя и очередного мужчины, вокруг дивана толпятся все остальные и смотрят, как он вступает в их ряды; чтобы не слышать, как уже в реальности кто-то спорит на то, с кем ты уедешь сегодня, или делает ставки, сколько еще в тебя влить, чтобы ты согласилась. Я хотела любви, и меня все любили — просто недолго. И я соглашалась. С самой гадостью, с самой дрянью, которая, казалось бы, не стоит и пальца на моей ноге, но в пьяном тумане кажется чем-то, что называют «долго и счастливо». Главное было быть пьяной, чтобы оставаться в иллюзии, а потом спать или пулей вышвыриваться из квартиры, чтобы не видеть их лица, говорящие, что тебя опять обманули. Я думаю, что на бутылках с алкоголем должен быть пункт, указывающий помимо угрозы здоровья и на угрозу девичьей чести.

И я ненавидела их. Плохих и хороших. Чувствовала, что меня испачкали, уничтожили. Но люди, а особенно пьяницы, любят себя обманывать. Поэтому я вошла во вкус. Вступила в игру. Это не вы меня. Это я вас. Каждого. Бедного и богатого. Женатого и влюбленного. Любого. Самого сильного и высокомерного. Всех. Трахну и брошу первая. Это я уйду, не оставшись на ночь. Это я буду делать вид, что я вас не помню. Это я надругаюсь над вашим телом и чувствами.

Это не ты, «папочка», выгонишь меня еще пьяную, потому что вот-вот вернется жена и ребенок, это я на своих ногах убегаю сама и, встретив на лестнице благополучную женщину с дочкой, буду чувствовать превосходство. Глядя в ее здоровое, счастливое лицо, я буду знать, что ее счастье ни черта не стоит. А мое пьянство, моя мерзость и грязь лучше, в тысячи раз лучше ее счастья, потому что во всем этом кошмаре хотя бы нет лжи.

Ее счастье ни черта не стоит, ее семья ни черта не стоит, ее ребенок не знает, что их счастье — это подделка. И зачем тогда все это надо? Мне не нужна ваша игрушечная любовь, пенопластовая семья и вам самим ненужные дети.

Если ты пьешь, у тебя всегда должны быть деньги на алкоголь и на тест на беременность. И на второй, если первый показал две полоски, и на третий, если второй показал то же самое. А потом на еще большее количество алкоголя, чтобы осознать, что произошло.

ТИТР: — *Живете ли вы половой жизнью?*

— *Нет, я пришла просто так.*

— *Когда были последние месячные?*

— *Я не знаю.*

— *Есть ли у вас постоянный партнер?*

— *Я не помню.*

— *Девушка, сколько вам лет?*

Но мне повезло, мне сказали, что беременность мне не грозит. Вообще. Никогда. Полеты в космическое пространство также плохо влияют на репродуктивную функцию. Никаких детей, никакой семьи. Никогда. Никогда ничего не будет. Никогда. Ты свободна. Абсолютно свободна. И счастлива, у тебя вечный праздник, полная безответственность, ты этого не помнишь, ты этого не знаешь, ты космонавт. Ради ощущения полета ты падаешь в такие ямы, что становишься

таким же черным, как космос, ради которого ты это делаешь. Но все плохое, что с тобой происходит, ты можешь выпить и снова стать счастливым, забыть о проблемах, а если не можешь, просто выпей еще. Ведь проблем у тебя стало действительно много. Но самая страшная из них, что алкоголь больше не вставляет.

Картина шестая

ПУСТОТА

ТИТР: *В 1920-х годах шведский химик Эрик Видмарк нашел формулу, с помощью которой можно вычислить уровень этанола в крови, то есть определить степень опьянения:*

$$C = A/m \times R$$

$$A = m \times V \times 0.0056$$

$$R = 0.6 / 0.7$$

Где А – масса чистого алкоголя, которую можно посчитать, умножив градус спиртного на его объем в миллилитрах и на 0,0056, m – масса вашего тела, а R равняется 0.6 у женщин и 0.7 у мужчин

Тогда, если я захочу выпить кружку пива, получится 0.5.

ТИТР: $6 \times 500 \times 0.0056 / 55 \times 0.6 = 0.5$

С этого я начинала. А если у меня разыграется настроение и я захочу выпить бутылку вина, я опьянею на 1.5.

ТИТР: $12 \times 750 \times 0.0056 / 55 \times 0.6 = 1.5$

А если я захочу выпить водки, получится 4.7.

ТИТР: $40 \times 700 \times 0.0056 / 55 \times 0.6 = 4.7$

Где-то здесь я была, когда начала все это считать.

ТИТР: *0.1–0.3 – ничего не заметно.*

0.3–0.6 – расслабление, шутники шутят, интроверты превращаются в экстравертов.

0.6–0.9 – ощущения притупляются, мысли путаются, логика теряется.

1–1.9 – то гнев, то милость, то радость, то печаль, поедимте в караоке, походка теряет твердость, язык заплетается, грека через реку не едет.

2–2.9 – речь превращается в мычание, ничего не понятно, ничего завтра не вспомните.

3–3.9 – полная утрата равновесия, нарушение сердцебиения, потеря контроля мочеиспускания, возможна смерть.

4–4.9 – одной ногой в могиле.

5 – смерть.

Мой максимум – 4.7. Можно не гадать на кофейной гуще и увидеть, как близок ты был к смерти. Но проблема остается открытой: алкоголь не вставляет, а мне не в коем случае нельзя трезветь. Именно поэтому ты продолжаешь пить больше и больше, пытаешься снова испытать счастье. Но уже не испытываешь.

И вдруг, выходя из пустого бара в шесть утра, видя солнечный свет и свой вид в нем, ты понимаешь, что абсолютно пьян абсолютно несчастлив, ты обнаруживаешь себя в полной заднице. Идя домой зигзагами, сталкиваясь с бегущими в детский сад и на работу людьми, не успев до первых рассветных лучей отключиться в беспомощности, ты видишь, что произошло. Кроме алкоголя у тебя больше ничего нет.

Ты понимаешь, что всего этого хотел не ты, а кто-то другой, тот, в кого ты превратился. И оказалось, что у свободы есть цена.

Картина седьмая

ЗЕМЛЯ

Я думаю, что бросить пить можно только по собственному желанию. И лишь тогда, когда допьешься до страшного.

Когда мой дед потерял возможность улететь к звездам, он будто бы застыл где-то между ними и землей. Мне тоже все то, чем занимались святые трезвые люди, было неинтересно. Космонавту после полета в космическое пространство нужно время на реабилитацию. Когда ты бросаешь бухать, ты будто бы учишься ходить заново. И у тебя будто задержка в развитии. Потому что пока ты училась летать, они учились ходить — жить нормальную жизнь, а ты в этом полный ноль. И самое главное, не понимаешь, зачем они все это делают.

А они хватают наугад все, что ни попадя.

Если не дети и семья, то мы возьмемся за каппинг, здоровую пищу, квизы, лонгборды, совместный шопинг, астрологию, психотерапию, йогу, мотивационные посты.

Каждое утро просыпайтесь с первыми лучами солнца, только не зимой, потому что в России вам придется идти на работу к восьми утра. Во время асан спокойно вдыхайте и выдыхайте, чувствуя, как ваше тело наполняется светом и созидательной энергией для прекрасного дня.

Все эти книги и фильмы, сборища огромных трезвых компаний, чтобы помериться письками, кто больше посмотрел и прочитал. Бесконечные разговоры о себе, для себя, радость от того, что это я говорю, как я говорю, как я в этот момент хорош! А на других мне совершенно пофиг. А зачем тогда вообще разговаривать?

В ожидании смерти люди ищут способы приукрасить жизнь. Хорошо, наверное, когда есть выбор. Я свой выбор сделала. Но он никому не понравился.

Я ни черта не понимаю, я не понимаю ваших игр, ваших слов, ваших интересов. И что вы все ко мне привязались? За что вы меня осуждаете? Я не осуждаю и не трогаю вас, а вы говорите: «Брось бухать, алкашка, посмотри на свое лицо».

Тогда ты брось своего мужа, брось свою работу, своих детей, брось то, что делает тебя счастливым человеком — и я посмотрю, с какой непринужденной легкостью ты это сделаешь.

Я нахожусь не с вами, и не хочу находиться около вас, в вашем тесном, темном чулане, заваленном бесконечным количеством бесполезных хобби, пропитанном лживой любовью к себе. Где вы все знаете лучше всех, потому что у вас мать его «трезвый» взгляд на мир. Я не хочу с вами, я хочу от вас, я хочу в космос, я космонавт.

Картина восьмая

НЕВЕСОМОСТЬ

ТИТР: 40х(меняется от 50 до 800)х0.0056/55х0.6 = (меняется от 0.3 до 5)

Я думаю, что где-то там есть космическое пространство или планета, куда должны отправлять всех алкоголиков. Чтобы им больше никто не мешал, а они наконец перестали мешать вам. Вы же терпеть нас не можете. Но самое забавное, что нас гораздо больше, чем вы думаете. Многим выпивающим кажется, что если они пьют шампанское, а не водку, если ходят на работу, а не похмеляются каждое утро, то все в порядке. Как бы не так! Я бы посмотрела, что будет, если отобрать у вас пятницу и субботу, которых вы втайне ждете всю неделю. Или если во время ваших сборищ запретить вам пить алкоголь, лишит вас этого социального клея. Как тогда пройдет ваш день рождения? Но алкашами именуют лишь тех, кто перестал притворяться окончательно, кто выбрал одну-единственную зависимость среди сотен возможных, кто скинул фальшивую человечью шкуру, пропитанную молочком для тела, чтобы обрести целостность, полностью естественную жизнь.

И я понимаю, что мое мнение — это мнение алкаша. Вы классно проводите день рождения, вам действительно нравятся ваши хобби. И я тоже, наверное, так смогу. Уже не первый раз ты произносишь тост за свою последнюю пьянку, и пытаешься весело обдумывать это дело. Начало с чистого листа всегда звучит очень вычурно и фальшиво. У тебя так и не получится. Ты вмазала такой жирный заголовок, что им пропитались все остальные страницы книги. Тебе нужна новая. Только на этот раз это будет не сказка. На этот раз я уже буду знать, что мой дедушка был не космонавтом, и что его тело оторвалось от сознания не просто от последствия полета в космическое пространство, а потому, что в этом полете он залетел за инсульт. Я буду знать, что он кричал санитарам о далеких звездах, о том, что он космонавт, а они избили его, сделав ему еще хуже, думая, что его перекошенное лицо обусловлено сильным пьянством, а не слабостью лицевых мышц.

На этот раз я буду знать: космос — это не сказка, но и что земля — не самое прекрасное место на свете. Я воспринимала ее не как надо, я ждала чуда, зеленой травы, любви, чего-то удивительного и, не найдя этого, попыталась с нее улететь, чтобы найти нужное мне в другом месте. Да, у меня не будет детей, и я рада, что никогда не обману их иллюзией и не покажу им Дисней — он нас всех здорово обманул. Видимо, я была тупым ребенком, но для меня было удивлением то, что проблему нельзя решить песней. И видимо, я была тупой женщиной, после каждого «коротко и погано» все еще веря в «долго и счастливо».

Я откажусь от любимых мест и так называемых пьяных друзей, у меня появится куча свободного времени, которое придется чем-то заполнить, чтобы не спиться снова. Я снова начну бегать по 10 км в день, уйду в работу, какие-нибудь милые отношения, буду ходить на каппинг, варить мыло, учиться новому, я буду другим человеком. Вот сейчас, уже завтра, я переживу похмелье, смою с себя под душем десять нетрезвых лет, и этот кошмар закончится.

Картина девятая

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Я никогда не была принцессой, и потом ненавидела их за то, что теперь не вправе стоять с ними рядом. Но чудовище, которое все-таки бросило пить, по ночам уже больше не превращалось в чудовище. Начало становится принцессой, и принц пришел, реально пришел, и начался Дисней. Тот самый Дисней, где проблемы решаются песней, где у вас все будет хорошо, после всего этого кошмара, наконец-то будет долго и счастливо, но в сказках же всегда есть подвох.

Когда еще в детском саду ты играешь с мальчишками в войнушку в роли собаки, потом ты вырастаешь, и уже взрослые мужчины обращаются с тобой как с собакой, а потом выбрасывают на улицу, каждая собака все равно продолжает искать хозяина. И он реально приходит, но все

равно чувствует, что с собакой что-то не так. Она может быть хорошей породы, но у нее все читается по глазам. И хозяин начинает выяснять, что с тобой было раньше. И когда принц понимает, что ты не принцесса, когда он узнает о том, в кого ты раньше превращалась по ночам, плевать на твои оправдания и причины, он больше не может не видеть в тебе то чудовище. И вы все кричите: «Посмотри, как прекрасен мир вокруг». Да, мать вашу, он прекрасен, да, он прекрасен, и в нем все есть, и зеленая трава, и любовь, но тебя в этом мире быть больше не может, он больше не для тебя. Когда твой любимый человек, все про тебя поняв, в истерике вопрошает о том, о скольких мужчинах ты пачкалась, мир для тебя прекрасным быть больше не может. Сказка есть, но ты ее не дождалась, любовь есть, но ты, пока она еще не успела прийти, уже ее потеряла. Потому что никто не предупредил тебя, что от этого бывают не только проблемы со здоровьем, в молодости всем плевать на здоровье, на этикетках к спиртному никто не пишет о том, что тебя никто не сможет любить.

Drunk Trunk

Книга Слона

Путешествия, письма, ночные кошмары, обзоры



*В отличие от многих писателей, я лично
знаю своих читателей.*

Иван Ахметьев

*Когда душа хочет что-либо испытать,
она создает образ, а потом входит в него.*

Экхарт

Моя жизнь, как фильмы Шанталь Акерман: состоит из длинных, статичных планов, в которых почти ничего не происходит. Они так же печальны и безысходны и предвещают еще большую печаль, стоит лишь очутиться по ту сторону жизни. А пока — фоном звучит старинный русский романс и падает тяжелый липкий снег. Как написал когда-то про меня Юрий Мамлеев:

*Я не чёрная тварь, уязвлённая бредом
Вселенной,
А живой полутруп, изнемогший в изгибах
любви,
И мне надо подругу, что тихо стоит
на коленях
Перед смертью своей и целует кошмары
мои...*

Камера медленно движется, неумолимо пожирая время, и все запечатленное обращается в прах.

Когда я развелся со своей женой, я пошел в «Пятерочку» и купил ноль семь вискаря, половину которого сразу же выпил из горла прямо у входа в магазин. Но меня не больно-то отпустило. Тогда я пошел на детскую площадку, залез в песочницу, где и допил остатки. Когда через пару часов я проснулся на холодном песке, на меня молча смотрели тысячи таких же, как я, одиноких звезд — и я заплакал. Потом я достал из джинсов телефон и написал своей бывшей короткое письмо, но напрямую отправлять его не стал. Вместо этого я создал аккаунт в одной соцсети и опубликовал письмо там. Поскольку подходящей картинке не нашлось (а это была визуальная соцсеть), то я решил заказать одной знакомой умелице войлочную маску слона и стал фотографироваться в ней. Так появился Trunk Drunk — Пьяный хобот. Сначала эти будто бы анонимные записки были обращены к ней — моей жене, потом — к себе самому, а в конце концов — к вам, моим читателям. И все они напечатаны большим пальцем моей правой руки на том самом сотовом телефоне.

Я смотрю на догорающие листы из тетради, в которую записывал все свои стихи. В последние годы они все посвящены тебе. Даже те, в которых звучат чужие имена. Бумага горит неплохо, но как мне выжечь их из своей памяти? Время медлит с лоботомией. Водка говорит со мной только о тебе. Повсюду валяются огромные куски разных чудовищ. Сгоревшая страница чуть колыхается на ветру, а потом ломается. Строчки рассыпаются и падают в свежий снег.

Я родился в небольшом поселке и четырнадцать лет прожил на углу улиц Розы Люксембург и 45 лет Октября. В августе время на этом перекрестке так загустевало, что казалось вот-вот вся история человечества повернет вспять, а чтобы пересечь его, требовалось не меньше усилий, чем в неподатливом сне. Во дворе нашего двухэтажного, деревянного многоквартирного дома стоял огромный тополь, являющийся центральной осью существования целого района. Всякого приезжего ориентировали по этому тополю: пойдешь в сторону тополя или повернешь от него направо или еще как-то, сообразуясь в пространстве с огромным деревом. Впрочем, тополь служил и более приземленным целям: на него крепили многочисленные бельевые веревки, в основании его ствола был пристроен стол, за которым мужское население дома проводило погожие вечера (за картами, домино, а то и просто распивая спиртные напитки), а местная детвора на разной высоте его причудливо устроенного ствола соорудила сразу три домика. Зимой тополь был всецело отдан во власть огромной вороньей стаи, которая наполняла зловещим карканьем весь поселок. У основания дерева, в наспех сколоченной из старых досок будке, зимовала немецкая овчарка Тайга. Тайга была старая и глухая, ворон она не слышала, а только обильно линяла и спала. Ранней весной, переживая волнения несчастной любви, на этом тополе в свои неполные шестнадцать лет повесился мой одноклассник Андрюха. Он открыл счет одноклассников-мертвецов, коих к сегодняшнему моменту накопилось уже больше десятка. А буквально на днях я получил приглашение отпраздновать юбилей со времени школьного выпуска. Я вот боюсь: не будет ли он похож на поминки?

Я пришёл из Вечности ясным августовским утром — так мне рассказывала моя мать. Первое сознательное воспоминание: меня

укусила пчела, жало торчит из мальчикового пальчика. Много позже я прятался от несчастных любовей на одинокой горе, там я обрёл своё единственное прозрение: мелкие камни заговорили со мной через подошву ботинка. А однажды в марокканской пустыне я прошёлся голышом по руслу высохшей реки, пока сипуха наблюдала за мной с завинченной в узел коряги. Что ещё можно вспомнить на краю Вселенной? Ни лица, ни прикосновения. Вот бы увидеть смерть чуть раньше, чем она взглянет на меня.

Принял ванну. Принял пятьдесят грамм коньяка. Принял ложь за правду. Принял себя такого, как есть, со всеми своими недостатками и немногочисленными достоинствами, как физическими, так и моральными. Принял феназепам. Принял делегацию лепреконов с петицией менять молоко в блюдечке не реже одного раза в день. Принял немного водки, а потом принял решение ее больше не пить сегодня, потому как водка является для меня слишком сильным депрессантом, а я добиваюсь как раз противоположного. Принял предложение выступить со своими стихами в клубе «На дне». Принял портвейн, как антидот ранее принятой водке. Принял жизнь, принял смерть.

Сегодня ночью я всхрапнул, а ты нежно положила свою руку на мой живот. Потом мне приснилось, что ты захотела уйти, и в ту же секунду я начал задыхаться. В эти дни ты спрашиваешь меня, почему я так печален. Разные причины. Основная — неумолимая дистанция между нами. Ты снова где-то пропадаешь, теряешься в этой каждодневной суете, ускользаешь. А у меня, напротив, много времени, много мыслей, много чего невысказанного. Ты оставляешь меня, а любовь — это, конечно же, не память. Я подумал, что могу быть для тебя хотя бы здесь...

— Чей это Слон? — крикнула поверх моей головы куда-то в глубину вагона проводница, когда увидела, как я, похмельный, пробираюсь со стаканом в подстаканнике к титану. Я обернулся назад, но не увидел никого, кто бы хоть ненадолго вызвался быть моим хозяином. В жизни я всегда был сам по себе, и даже не представляю себе такого рода связь, предпочитая партнерские отношения взаимозависимым. Проводница прокричала свой вопрос повторно, и опять никто не отозвался. Я так и стоял в проходе с пустым стаканом, а всего-то и нужно было мне — немного кипятка, утолить свою жажду, усмирить гудение в голове, и я бы снова лег на свою койку и так бы проспал мирно до самого Архангельска. Проводница схватила меня за воротник и потащила к выходу, стакан выпал из моих рук и покатился куда-то в темный угол.

— Шляются тут всякие, — бурчала она себе под нос. — Как только он умудрился в вагон попасть?

Проводница с грохотом отворила тяжелую вагонную дверь. В тамбур ворвался морозный воздух, а затем сотни колючих снежинок вонзились в мое измученное тело. Поезд стоял на каком-то богом позабытом полустанке. Проводница огляделась по сторонам и вышвырнула меня из вагона. Я упал в снег и надо мной лягнули металлические засовы. Через минуту поезд тронулся, а я так и лежал в снегу, не в силах пошевелиться. Инцидент попал на камеры наблюдения, и уже очень скоро меня разыскивало множество волонтеров. Но и в этот день, как всегда, было поздно.

Я предпочитаю рассказы про всякую мерзость. Так вот, в лесу, от которого я живу неподалеку, восьмилетняя девочка зверски убила сексуального маньяка. Случилось это буквально на днях, а сегодня я встретил ее на заснеженной дорожке.

— А вы всё прогуливаетесь! — заметила она.

Девочка была одета в яркий комбинезон цвета фуксии. В руках она держала пакет с фундуком: кормить белок.

— Хотите немного? — зачерпывая рукой в пакете, спросила девочка.

— Я бы не отказался, — ответил я.

Она протянула мне горсть орехов.

— Может, прогуляемся, — предложила она, — посмотрим белок?

Я послушно поплелся за девочкой, которая выискивала взглядом страждущих зверьков.

— Не хотите задать мне какой-нибудь вопрос? — спросила она.

Я молчал.

— Я вижу, вы немного побаиваетесь меня. Знаю, что вы сразу догадались, кто я такая. Я специально ношу такой яркий костюм, чтобы приманивать всех этих негодяев. «Невинная девочка кормит белочек» — ха-ха-ха!

Девочка закинула себе в рот несколько орешков и стала ими хрустеть.

— Они такие твердые от мороза... Говорят, в девяностые в этом лесу убивали и насиловали чуть ли не каждый день. Причем убивали зверски: ржавая проволока, осколки бутылок, какие-то железные прутья, кирпичи — словом, жестокость. Я поэтому и не приняла этот новый сериал про казанских пацанов. Он ведь романтизирует всё это насилие, будоражит и так беспокойное в наше время общество. В какой-то степени, я тоже нахожусь под воздействием этого фильма Жоры Крыжовникова, во мне будто открылись какие-то шлюзы, что-то дремавшее вырвалось наружу. С одной стороны, хочется справедливости, но получается так, будто эта справедливость достижима только вот таким насильственным путем. Я знаю, что у того человека было непростое детство (она покосилась на мой профиль, полувинком я согласился). В школе на него никто не обращал внимания, дома — пьющий отчим, забитая мать. Ему приходилось запрыгивать на табурет, чтобы его не покусали крысы на кухне. Он обозлился на весь мир, и где-то его можно понять. Не было с ним рядом человека, который бы указал ему другой путь... Вот вы сейчас будете смеяться, но я все же скажу: путь некоего духовного преображения.

Скажем, у Раскольникова была Сонечка Мармеладова, которая полюбила и приняла его, и, в конечном итоге, по-христиански простила, и Раскольников стал совершенно другим человеком. Или убийца Миларепа, который стал настоящим святым через духовное преображение. Слышали про такого?

— В Тибете?

— В Тибете, да. А тут у нас царит какое-то тотальное неведение и не к чему потянуться, и никто не подскажет вовремя, не направит. Вот и остается — убивать на опережение. И при этом посылая в мир какой-то вразумительный меседж: образумьтесь, задайте себе вопросы, пока не поздно.

Мы пришли на какую-то утоптанную поляну, затянутую по периметру оградительной лентой. Снег на поляне был розовый от недавней схватки.

— Вот здесь это все и произошло, — сказала девочка и едва заметно усмехнулась. — Меня, как любого убийцу, тянет к месту преступления.

Какое-то время мы молчали. Девочка легонько распихивала снег своим сапожком. Откуда-то появились две белки. Юрко, но не очевидными путями, они подступились к девочке и обе встали на задние лапки. С улыбкой девочка принялась кормить белок фундуком. Понемногу я разглядел на рукаве её яркого комбинезона бурые пятна крови.

Одна моя подруга поставила «Волшебную флейту», но не обычную, а ту, в которой онкологической пациентке с постоянно ухудшающимся состоянием отовсюду шлют куски из моцартовской оперы. В соседнем ряду кто-то пил ягермайстер из фляжки, и запах этого многотравного ликера был так уместен к разворачивающемуся на сцене действу.

Ты выходишь на сцену, шелкают лучи прожектора, и ты зажмуриваешься от слепящего

света (в зале раздаются нестройные аплодисменты). Какое-то время ты не можешь ориентироваться и едва стоишь на ногах. Тебе кажется, что пространство закручивается под ними, ты теряешь равновесие и падаешь (смешки в зале). Откуда-то сверху раздается грудной женский голос:

*Бай, бай, бай, мое дитяtko!
Ай лю-лю, лю-лю, лю-лю,
О баю, баю, баю.
Уж вы, Слоники-слоны,
Уж как я вас люблю!*

Начинает идти снег. Все так же, лежа на спине, ты ловишь ртом снежинки. На мгновение ты закрываешь глаза, а когда ты их открываешь, всё уже исчезло: и сцена, и зрители, и голос. Ты находишься в сером беззвучном пространстве. Нужно ли тебе двигаться? В каком направлении? Есть ли в этом промежутке вообще какие-нибудь направления? Внезапно где-то в неопределенной дали ты видишь бледные зеленоватые сполохи. Ты взмахиваешь плавниками и устремляешься к далекому свету, выравнивая свой курс рыбьим хвостом. Свет приближается и становится кроваво-красным. Ты вспоминаешь, что все это когда-то повторялось много раз. Ты выходишь на сцену, щелкают лучи прожектора, и ты зажмурилась от слепящего света.

Раз в месяц я освобождаю себя от обязательств: личных, профессиональных, общественных. Я достаю карту и набрасываю какой-нибудь автомобильный маршрут. Затем я набиваю флешку неведомой мне музыкой из торрентов, и путешествие почти готово. Осталось сложить в рюкзак газовую горелку, консервированную фасоль, сухофрукты, сборник коанов, фотоаппарат и зарядку для айфона.

В этот день я не прокручиваю ленты соцсетей и не ставлю лайки в Инстаграме; этот день предполагает лаконичность и простоту.

В этот день мне никто не звонит – телефон в авиарежиме, сегодня он нужен лишь как навигатор.

Разумеется одного дня всегда мало, но для запуска определенного рода процессов обычно хватает. В этот день возрождаются идеи, похороненные под грудой ежедневной рутины. Однодневное путешествие позволяет понаблюдать за твоим личным хаосом, а возможно, и кое-что подкорректировать. Бесконечные поля с щетиной желтой травы, грязная стена низкорослых елей. Я верю в каждое свое путешествие.

Я забираюсь на заснеженную гору, но вместо тишины слышу оставленные у её подножья голоса. Я зажигаю горелку и открываю банку фасоли «Heinz». Однажды совсем близко ко мне подошел лось. С минуту он смотрел на меня, а потом, медленно развернувшись, бесшумно исчез за деревьями. Я снимаю с горелки фасоль, обжигаю пальцы и роняю банку на снег. По снегу медленно разливается бурое пятно.

Вечное не то.

Вот опять:

Я знакомлюсь с женщиной и иду с ней в ресторан, где обнаруживаю всех своих бывших жён и подруг, сидящих за одним столом. Они обращают на нас взгляды, оценивают мою спутницу – она смущена. За общим столом слышны насмешки, обращенные в мой адрес. Мы со спутницей садимся за столик в отдалении. Возникает длинная пауза, которую не спешит заполнить ни один официант – они тоже наблюдают за всей этой картиной из своих дальних укрытий. Спустя еще какое-то время к моей девушке подходит бывшая моя жена и что-то шепчет ей на ухо. Моя спутница меняется в лице и резко встает из-за стола. Обе женщины отправляются за общий стол, а я сижу одинокий и ко всем спиной.

Она явилась и с порога заорала: мол, какого хрена я куда-то пропал, что уже несколько дней не отвечает мой сраный телефон и никто вообще не знает, где это я, и может, сдох уже и валяюсь на кухне среди своих бутылок, и начинаю смердеть покойником, а соседи думают, что это легкая утечка газа. На что я ей вполне резонно возражаю, что у меня ретрит, сука, и ты прекрасно осведомлена о моих духовных практиках, и что я часто удаляюсь от мира, чтобы как следует поразмышлять, и чтоб мне не трахали мозг вот такие, как ты. Что-то часто удаляешься ты в свой ретрит, все не унималась она, а заодно проверяла мусорные пакеты: нет ли в них использованных презервативов. Удаляюсь как раз столько, сколько нужно — это я ей говорю — и нечего рыться в моих вещах. Она бросила пакеты и заплакала: не вижу я никаких твоих духовных реализаций, у тебя напрочь отсутствует сострадание и ты дебил. Полегче на виражах, милая, я ей говорю. Как ты можешь увидеть мою работу, когда вся она происходит внутри? Эта работа даже для меня незаметна, не то что для такой самовлюбленной эгоистки, как ты. Она схватила тарелку ИКЕА и разбила ее о мой пол. В ответ я разбил такую же. У меня немного посуды, так что минуты за три мы управились. Она схватила последнюю тарелку, она знала, что это подарок моей бабушки, а ещё раньше моя бабушка получила ее от своей бабушки, и вообще эта тарелка тысячи лет передавалась в нашем роду из рук в руки, но она злобно швырнула её о пол. Ах ты, сука, сказал я ей, серебряные тарелки не бьются. Она молча села на стул и стала умиротворенно разглядывать осколки. Осколки эти и сейчас, спустя две недели после того инцидента, устилают пол моей кухни. Я не стал убирать их, да и когда мне, если я занят нежным пересчётом её тонких косточек.

Я очень восхищался новым фильмом Вендерса, пока его не посмотрел.

Я вырос на японских фильмах про одиноких мужчин. Благодаря им я уезжал из разных городов, не говоря никому ни слова, свел количество своих пожитков до одного небольшого чемодана, научился спать в одиночестве на жестких матрасах и есть любую еду палочками. Да, в глубине души я — грустный одинокий японец, поскорее стремящийся умереть, но и умеющий радоваться незатейливым повседневным вещам. У Вендерса в его новом фильме главный герой тоже одинокий престарелый японец, ведущий незамысловатую жизнь, но по выдуманным правилам заезжего немца-режиссера. «Идеальные дни» — про предсказуемого идиота, улыбающегося по часам. Мэтра попросили снять зарисовку про красивые токийские туалеты (сам заходил в такие), но он зачем-то замутил клишированную и глубоко неправдивую историю. А неправдива она из-за отсутствия того нерва, который связывает индивида с его экзистенциальной судьбой (настоящие японские фильмы только на таком нерве и строятся). Не на деталях же (ну не смешите меня) выезжать, пусть даже это мимимишные старые музыкальные кассеты и хипстерские пленочные фотки (и эта каталогизация главным героем черно-белых веток клена так же глубоко клиширована, как и невероятно бессмысленна даже в контексте этого бессмысленного фильма). Музыка, кстати, режиссер навставлял из своего старперского заезженного плейлиста, на который, разумеется, сразу нашлись сходящие с ума любвеобильные фанатки. Но вообще-то я никогда не думал, что напишу про своего любимого режиссера такие вот строки. Благодаря его «Небу над Берлином» я наконец понял, что такое кино. Как же непредсказуема бывает эта печальная и прекрасная жизнь!

Когда я еще спал, она шла в мокрый от росы сад, собирала с куста ягоды и пекла мне, пятилетнему, нежнейшие пирожки

из ирги. А однажды я увидел ее из окна нашего деревенского дома. По проселочной дороге она катила велосипед «Школьник» – подарок для меня к летним каникулам. Я помню ее руки: красивые, как корни старого дерева, и всегда чуть холоднее, чем мои. Всю свою любовь бабушка отдала мне. Она была рядом, но всегда будто немного в стороне. Я помню ее взгляд, ее голос, ее печаль и гордость, которые передались мне по наследству. Это она научила меня смотреть сквозь время и говорить этому миру «да».

Мечты имеют одно неоспоримое свойство – они сбываются. Также сбываются все намеченные планы. И даже неявные задумки тоже сбываются. Банально говорить о силе проклятий и добросердечных пожеланий – все они в той или иной степени материализуются. Фишка в том, что в силу относительно неопределенной временной перспективы немногие в это по-настоящему врубаются. А у других бывает напрочь атрофирован их аналитический аппарат. Еще есть такие понятия, как «сила амбиций» и «карма». Случается, что какое-то одно мощное желание какого-нибудь чувака ну никак не может воплотиться в его жизни – просто физически не вмещается. Такому необходимо пройти череду воплощений под гнетом его основной амбиции. Как правило, сам он об этом мало догадывается, ибо не он тут главный, а его желание. Я хотя бы благодарен себе за то, что никогда не хотел стать президентом США или Папой Римским. Мне, если и понадобятся другие жизни, то не больше каких-нибудь пары тысяч.

Сегодня я решил стать безумным дзенским монахом, бухать без всякой передышки и отрубать своим ученикам конечности, чтобы они поскорей обретали сатори. «Надо жить, – записал я в своём дневнике. – Надо расточать себя ежеминутно, надо подбрасывать

в воздух свою неиссякаемую радость, надо идти сразу во все стороны. Сейчас я мог бы передвинуть Эверест, если бы четко не понимал: он стоит ровно там, где ему нужно стоять. Все алмазы мира блёкнут перед одним, по-настоящему пережитым мгновением. «Намо амидо буцу», – весело кричу проезжающим мимо товарнякам; «ашлех аль а-донай», – пролетающим самолетам. Да святится имя твоё, да высохнет океан страданий!»

Лучшие влюбленности – неожиданные. Девушка, глянувшая на меня и улыбнувшаяся в соседней машине на светофоре, бухая второкурсница филфака на набережной, попросившая посторожить ее, пока она пишет в кустах, тонкие пальцы пассажирки автобуса, которая что-то рисовала на согретом ее дыханием стекле. А однажды в парке культуры и отдыха прямо ко мне в объятия скатилась совсем юная и еще неумелая скейтбордистка. Я потом еще два дня вспоминал ее испуганный взгляд: с горки она мчалась на неуправляемом снаряде по траектории встречи с соной. Девушку я спас, а скейт укатился в овраг. Какое-то время мы так и стояли, точь-в-точь как романтические герои в финальных сценах первых цветных фильмов.

Однажды все пассажиры ночного авиарейса внезапно состарились. Первым это установил мужчина с кресла 23F. Проснувшись, он пожелал выпить стакан воды и нажал кнопку вызова стюардессы. Через довольно продолжительный отрезок времени к нему, шаркающей походкой, приковыляла старуха в серой униформе. Мужчина был настолько обескуражен, что не решился даже заговорить с ней и притворился спящим (он уже слышал страшный гул в своих ушах, но списал это на внешние обстоятельства). Капитан воздушного судна обнаружил своего помощника бородатым стариком, положившим подбо-

родок на грудь и то и дело всхрапывающим. Артритные руки самого капитана едва удерживали штурвал. Молодожены, возвращающиеся из свадебного путешествия, отыскивали глазами свои юные аватары, не желая признавать в соседях-стариках законных мужа и жену. Они даже забыли расцепить свои руки и, лишь нечаянно глянув на них, брезгливо отдернули их друг от друга. Весь салон пропах кислым старческим дыханием, медикаментозной вонью и мочой. Кое-кому не посчастливилось даже умереть. На коленях одного из таких трупов стояла переноска, из-под полога которой подслеповато поглядывал насквозь поседевший кот. В аэропорту прибытия всем пассажирам выплатили пенсию с примененным индивидуальным коэффициентом, хотя некоторых это отнюдь не утешило, а многих и возмутило.

Я должен написать об августе. Август — мой любимый месяц.

Я должен написать о своем самом одиноком месяце в году.

О том, как в моем детстве мальчишки играли в футбол трупом ими же убитого воронёнка.

О том, как ты однажды напилась и билась головой о стеклянную витрину, заявляя, что по гороскопу ты муха.

О том, что жизнь человека — чистойшей воды вымысел.

И если бог создал меня, почему я его не чувствую?

«У Плыли-Две-Птицы».

И да: о том, как все всех забудут.

Так вот, август...

В такие же первые дни ноября мы шли с ней вдоль кромки Балтийского моря. Она беспрестанно снимала меня на полароид и тут же выкидывала карточки в воду. Я не знал: то ли злость это, то ли безразличие.

Когда-то она ворвалась в моё (годами выстраиваемое) одиночество и до основания разрушила эту (как мне казалось) изящную постройку. Для меня она была лучшим способом разглядеть самого себя, однако сюда мы приехали специально, чтобы попрощаться. У меня была с собой бутылка красного, и мы то и дело отпивали из горла. Сделав последний глоток, она неуклюже бросила бутылку в море. Потом она исчезла, а её последние слова я, конечно, помню: «В тебе столько света, но ты так и не зажег его для меня».

А вот просто хочется взять и снять такое кино, какое давно где-то внутри себя чувствовал, которое и на кино-то не похоже в этом привычном смысле слова, а что-то такое дремучее и вязкое, как запойный сон, но не заумь там какую-то, нет — рвущуюся наружу дикость и нежность и красоту невероятную чтоб. Зерно восьми миллиметров, разъедающее время, абрис девушки у моря, рыбу на красной веревке, предчувствие мирового оргазма, тотальный расфокус, губы, поедающие сами себя на фарфоровой тарелке — вот в таком роде, но и это слишком зримо. Это будет очень короткое кино, как и любая одинокая жизнь человека.

Остановившись на светофоре, мужчина пятидесяти пяти лет внезапно понимает, что он не совсем счастлив. У него есть прекрасная жена, с которой они прожили бок о бок вот уже тридцать лет, целеустремленные дети, диверсифицированный бизнес. Но что-то все равно его гложет, какое-то смутное чувство неудовлетворенности. Мужчина поправляет галстук и смотрит на себя в зеркало заднего вида. Он кладет правую руку на приятно-холодную кожаную поверхность руля его Porsche Cayenne. Еще немного подумав, мужчина решает, что ему не хватает любовницы, какой-нибудь отвязной молодой дев-

чонки, с которой бы он мог играть в прятки в их укромном убежище в северо-западном пригороде. Сердце ёкнуло от таких вольных мыслей, и мужчина про себя улыбнулся. А что если Рената, думает он, она так по-доброму всегда со мной разговаривает. И скромна. Но внутри, это совершенно ясно, у нее целый другой, вольный и веселый мир, мир, поистине многими вещами еще не омраченный, и, пожалуй, она могла бы со мной им поделиться... Загорается зеленый свет, и мужчина трогается с места, но в следующую секунду его коронарную артерию перекрывает тромб, мужчина мгновенно умирает, а его Porsche Cayenne выезжает на встречную полосу.

Вот что всегда должно быть в доме: свежие цветы, бумага для записей, оливковое масло, какой-нибудь музыкальный инструмент, несколько сортов чая, пластинки Брамса, коврик для молитвы, презервативы, запас сухого красного вина и, конечно же, шахматы ручной работы.

Август утонул
Словно Ди Каприо
В темной холодной бездне
Атлантического океана Осени.

В юности я организовал панк-группу без названия (или я его попросту забыл). Мы репетировали в клубе завода электроустановочных изделий, но так и не дали ни одного концерта. Зато мы записывали свои безумные песни на ленточный магнитофон «Маяк» и фотографировались обнаженными в развалинах на обложку нашего будущего альбома. У меня была мечта спеть вместе с Боно, но тут меня призвали в армию и карьере панк-исполнителя пришёл конец. Какой-то

капитан-лейтенант, обходя строй новобранцев, остановился возле меня и устало заметил: «Хорош в строю, да х...ли толку».

Иногда вскочишь посреди ночи с постели, обовьёшь себя длинными руками и пронзительно закричишь себе в ухо: а ведь я могу все прямо сейчас, ведь я в одно мгновение способен превратить все пять морей в кусок камамбера, и откуда, господи, это всеисилие и свалившаяся на меня простота?! И ты судорожно записываешь на стикерах все свои ближайшие многочисленные задумки, и развешиваешь их по всей квартире, чтобы наткаться, наткаться, наткаться. Но к утру и юность, и вино заканчиваются: на ринг выходят неожиданные планы и тремя хуками кладут всю твою прыть в нокаут. А стикеры засыхают и отваливаются, как осенние листья.

Мир не наполнен ничем иным, кроме иллюзий. Моя самая любимая из них — быть кому-то нужным.

Шаг за шагом я погружаюсь в собственную пустоту, и тишина постепенно обволакивает меня. Я уже не слышу своих шагов, не обращаю внимания на ядерные вспышки в голове, отворачиваюсь от любой надежды. Я подчиняюсь ритмам природы и вместе с ней медленно впадаю в анабиоз. Что-то во мне навсегда закончилось, и трава под ногами такая терпкая.

Чем хорош и универсален фильм «Гражданин Кейн» (который я на выходных вновь пересмотрел), так это тем, что он задает од-

ну-единственную простую мысль: кем бы ни был ты, как бы ни прожил свою нелепую и полную неведения жизнь, брал ли ты кредиты или давал их всей стране, испытывал ли так называемую боль, мариновал огурцы или строил двадцатиметровые яхты, сотни раз влюблялся в одну и ту же девушку, экспериментировал с лабораторными крысами, был наблюдателем на выборах или вуаеристом, крал книги в школьной библиотеке или нажирался до взблева каждую пятницу – в конце концов, когда сознание твое начнет стремительно сужаться, когда смерть станет торжественно отворять перед тобой свой сияющий портал, из прожитого вспомнишь ты лишь одну сентиментальную безделицу, смешной мимолетный образ вроде «розового бутона». И вдруг ты поймешь, что за всю твою жизнь никто не научил тебя работать с подобного рода субстанциями, а только выписывать счет-фактуры, а только будто бы «жить», а только все время врать самому себе. «Слишком поздно», – только и успеет промелькнуть в твоей голове.

Есть ли такой фильм, который привёл весь кинематограф в тупик? Вот как «Уллис» привел в тупик роман как явление.

Собрать бы все нужное и волнующее меня, вдохновляющее и напутствующее, в одну прекрасную книгу со слегка желтоватыми страницами и редкими, но изящными рисунками на полях; такую книгу, которую я единственную смог бы взять в свой последний поход, а потом шагнуть с ней прямо в могилу.

Всю жизнь мне поскорее хочется доесть все продукты из холодильника, доделать все текущие дела, дочитать все открытые кни-

ги и отправиться в свободное и непреднамеренное путешествие, где, наконец, я хоть на миг смогу обрести самого себя. Всю жизнь я мысленно пакую небольшой чемодан, в котором должно уместиться средоточие моего бытия и пара запасных трусов. Все, к счастью, временно – говорит мне несовершенство быта, отпуская меня на волю. Я намечаю свой побег на определенное число, но оно вдруг странным образом выпадает из календаря, а поскольку все продукты уже съедены и книги дочитаны, я жалко плетусь в «Пятёрочку» и «Пиотровский».

В своей сегодняшней медитации я вдруг оказался на пыльном калифорнийском крыльце Дэвида Линча: было раннее утро и воздух чистый, знобящий, проникал в меня сквозь ноздри прямо до затылка, а потом скатывался вниз по спине. Хозяин тихо сидел в глубоком кресле, курил и поглаживал огромную рыбину, лежащую у него на коленях. «Как хорошо, – думал я, – будто во что-то окунаешься». Медленно и почти беззвучно начал раскручиваться барабан Мировой Стиральной Машины – Калифорния тоже качнулась и плавно сделала свой первый на сегодня оборот. Постепенно вращение стало ускоряться и Дэвид попросил меня (Until it's too late) сходить в гараж за пивом. Преодолевая центробежную силу, я поплёлся в сторону гаража, но тут пришла СМСка от банка «Тинькофф», барабан затрещал, поднялся пыльный ветер, и в лицо мне прилетела холодная, неприятная рыба.

В эти безотрадные дни прикидываю, как разбить сад на своём пустынном балконе.

Потребуется много терпения (о, теперь у меня его в достатке), изобретательности и сноровки, чтобы возделывать этот мой Ирий. Ближе к солнцу пусть стоят кустистые, с тепллюбивыми желтыми головками бархатцы, в полутенях я расставлю низкорослые

календулы, пушу лианы для драпировки кирпичных стен, повсюду в ящики я насажу петрушку (у нас с ней особый договор) и карликовые томаты ей в компанию. Найду пару коряг (похожих на кости древней рыбыны); там и здесь уложу безмолвные камни. Посередине пусть стоят опрокинутые ящики из-под яблок, а на ящиках бокалы с сидром, кругом разбрасывающие солнечные блики.

Однажды ночью окно этого балконного сада вдруг окропят морские брызги, и мой ковчег, скрипнув и медленно оторвавшись от груды остального дома, отправится в далекое и счастливое плавание, навстречу совсем другой жизни – тихой и радостной.

Сейчас проходил мимо горстки мальчишек, и один из них, самый понторезный, в футбольной форме и желтых гольфах, объявляет: «Сейчас пойдём по рельсам, и кто упадет – тот натурал». Я немного прошел и обернулся: идут по рельсу, стараются, балансируют, не падают...

Сон. Я – сирота из Швеции, и меня воспитывает дядя Густав, скарредный и сухой старик, не ведающий ни ласки, ни сострадания. Настает день, когда мне исполняется 43 года и я получаю свое скромное наследство от моих несчастных родителей, много лет назад погибших в авиакатастрофе. Знали бы вы, с какой неохотой дядя Густав отдавал мне мои деньги, но закон Швеции – не то что где-то там. Всю жизнь дядя воспитывал во мне коммерческую жилку, и я решил вложиться в небольшой универмаг. Десятую часть от прибыли я стал отдавать таким же шведским сиротам, как и я. Очень скоро шведы прознали о моей благотворительности, хотя я тщательно скрывал этот факт. Люди толпой шли в мой универмаг и хотели покупать товары только у меня. Пришлось расширяться. Меня показали по национальному телеви-

дению, и соседка Лиана, веселая толстушка, наконец-то мне отдалась. У нас пошли детишки: один краше другого. Скоро и Нобелевский комитет присудил мне премию по литературе за мой стихотворный сборник «Затерянный во фьордах». Мы с Линой стали собираться в Стокгольм: что за переполох поднялся в нашем счастливом доме! Люди несли нам подарки: одних банок с вареньем набралось шестьсот штук. В четверг мы сели на самолет местных авиалиний, но вскоре в небе началась гроза, налетел шторм, молния попала в кабину пилотов – самолет стал падать. Темные воды Северного моря с невероятной силой неслись нам навстречу и одним махом прихлопнули мой прекрасный сон. Я очнулся в другом и поплелся на кухню утолять свой сушняк.

Вот как я провел вчерашний вечер: в полном одиночестве, как и сотни, и тысячи дней до этого. Впрочем, не так: я был окружен толпой мертвецов – их-то куда легче вынести, чем каких-нибудь живых мужчин и женщин. Все мои любимые писатели давно мертвы, а их книгами завален мой дом. Вчера я случайно наткнулся на Томаса Бернхарда: потрепанный томик, страницы украшены винными пятнами. Я стал проваливаться в его прозу, тихо ликуя, забываясь и забывая, как вдруг позвонила одна женщина и пригрозила тем, что сейчас же приедет. Несколько раз она даже посмеялась в трубку. Стоит ли говорить, что такие импульсы никак не соотносились с моими планами? Мне пришлось соврать, что прямо сейчас я в Армении... да нет же, не в Ереване даже... в каком-то небольшом селе... нет, туда не ездят машины, туда не проведены дороги... я три дня добирался до него на муле, преодолевая каменные завалы. Тогда женщина принялась рассказывать мне удивительную историю своей одинокой жизни прямо по телефону, сумев в итоге уложиться в 47 минут. Я поставил на громкую связь и открыл бутылку шардоне. Голос одинокой женщины лился в пространство моего оди-

нокого вечера, а я воображал себя стоящим на высокой армянской горе, держа в вытянутой руке сотовый, чтобы не потерять сигнал.

Я все чаще стал замечать лотерейные билеты. Они теперь повсюду, и люди берут их ворохом. Заправили розыгрышей наживаются покруче, чем церковники. Вот стою я в очереди на кассу в «Красном и белом», а передо мной девушка в очках перебирает стопку билетов, как будто в этом занятии имеется хоть малейший толк. Взяла семь и отчалила во свои мечтания: купит лофт в самом центре, тачку (не какую-то там «Ладу»), немного увеличит грудь. Во времена, когда уже не на что надеяться, сгодится и такое чаение. Я тоже взял себе парочку на сдачу под названием «Новогодний миллиард». Ума не приложу, куда такое бабло потрачу! Зато думаю про ту студентку в очках: сидит, наверное сейчас, в своей общаге, мешает вилкой доширак, смотрит на яркие билеты и мечтает о новогоднем чуде. Ладно, помалкиваю.

Я очень устал быть в этом месте в это время. Смотрю какой-то итальянский фильм, мне хочется в ту глубинку, в те горы, снимать там кино, там думать и гулять, дышать тем воздухом и есть местную еду. Даже когда я пишу эти строки, я уже счастлив, потому что я уже там.

Сон лучше, чем еда.

Завтра, дорогая, я стану пить лишь одно вино и пиво, а послезавтра и вовсе одно вино. Постепенно я вернусь к своим трудам, снова

возьмусь за написание книги и (как знать?), может быть, совсем брошу пить. Но сегодняшнюю радость, сегодняшний экстаз, прорывающейся сквозь все поры весны, этот момент нашей молчаливой встречи ни в коем случае нельзя омрачать такими вот безнадежными мыслями. Завтра будет совсем другой день, и мы к нему готовы. Ну скажи: разве не должны мы, сами сотворившие себя против воли, попытаться начать все сначала?

Девушка-философ с самого своего детства размышляет об экзистенциальной природе смерти. Однажды в день своего рождения она решает устроить собственные похороны. Она варит кутью и приглашает на поминки своих друзей-философов, которые ведут бесконечные беседы о смысле жизни, бессмертии и своем месте во Вселенной. Сама природа смерти заставляет задуматься собравшихся о ценности времени, о своих насущных целях, о любви и о своем духовном пути на Земле. Смерть, по определению собравшихся, подчеркивает человеческую уязвимость и онтологическую неопределенность, что заставляет устремляться взыскующего индивида к более осмысленной жизни. Философы пьют вино, едят капустные пироги, танцуют и думают о финальной оргии.

Вот сел я в лифт, а там девица меня поджидала. Полная девица надавила полным пальцем на металлическую кнопку до хруста. Ей нужен был шестнадцатый этаж, а я ехал к этажу ниже, вот и нажал кнопку с номером 15. Мы тронулись. В самом начале движения лифт немного покачался из стороны в сторону. Я старался не глядеть на девицу, но она, казалось, присутствовала везде, куда бы я ни прятал свой смущенный взор. Мне надо было о чем-то серьезном подумать, иначе я мог бы засмеяться, как Джокер из одноименного фильма, потому что я нервный и потому,

что поездка в лифте в сопровождении чужого человека — она ведь изначально очень странная: вся эта неуместная и молчаливая торжественность; ведь хуже и не придумать ситуации для порядочного человека. Я стал думать про сосиски, которые медленно крутились на металлических валиках. Их я видел когда-то на заправке «ЛУКОЙЛа». Я не ем сосиски, но сейчас ведь было не до принципов. В момент, когда я внутренне уже готовил себя к этой воображаемой трапезе, мне вдруг показалось, что девушка несколько увеличилась в размерах. В лифте (и без того маленьком) стало тесно. Ее бок прижимал меня к металлической стенке, а ведь это еще только третий этаж! Боже, отчего лифт поднимался так медленно? Тут я вспомнил, что во многих произведениях аудиовизуального искусства лифт используется в основном как некая расхожая метафора погружения в inferнальную бездну. Я начал вспоминать все окинематографические зловещие лифтовые шахты, по которым нужно отчаянно карабкаться, для того чтобы выжить. На пятом этаже мне стало тяжело дышать, ибо девушка все увеличивалась и заполняла собой уже почти все свободное пространство. Я распластал руки в стороны и уперся ими в холодный металл. Давление было велико. Очки на мне лопнули и мельчайшие осколки диоптрийного стекла облепили мой вспотевший нос. «Неужели вот так нелепо суждено окончить мне дни мои, Господи?» — вознес я сквозь толщу жира свою вопрошающую молитву. Внезапно (ха-ха-ха) лифт остановился на седьмом этаже, двери его отворились, и я упал к ногам какого-то человека. Мужчина с отвращением на меня посмотрел и вошел в лифт. Он нажал кнопку, и двери стали медленно закрываться. Сквозь смыкающийся затвор я успел разглядеть полную, но все же привлекательную девушку в модных хипстерских очках — она улыбалась незнакомцу.

Некоторые из этих записок я вставляю сюда прямо из своего дневника, который

почти безостановочно веду на протяжении двенадцати лет (если в дневнике и случаются пробелы, то по ним я безошибочно определю свои запои). В записки без всяческих пометок бывают встроены чужие цитаты, которые спустя годы я мог ненароком и присвоить.

Вы можете взять любимое свое стихотворение и, пользуясь его структурой, написать великолепный роман или снять замечательный фильм.

Если я все время думаю об одном человеке, меняет ли это его? Там, где-то на расстоянии, подстраивается ли он под мои чаяния? Синхронизируется ли с моей извечной тоской, становится ли вместе со мной лучше, намного лучше? И что думает обо мне тот человек, чтобы и я день ото дня становился тем самым другим? Смотрит ли тот человек, как и я, внутрь себя и видит ли, как много там места для него и как не хватает там его присутствия? Идет ли эта каждодневная работа сближения, а если идет — какова ее истинная цель?

Я, как пингвин Вернера Херцога, убегаю в никуда, в безжизненную ледяную пустыню, в холодную темноту, на верную смерть; убегаю от вас, от себя, от проклятой жизни, убегаю без оглядки, по-чаплински семеня, несчастным животным, забавным клоуном, за тысячи километров от ваших безразличных взоров, в изначальную обитель моих бесчисленных предков: возможно, мне все еще дано постичь Истину Всесущего, если таковая, конечно же, имеется. В последнюю секунду меня будто бы кто-то окликает, я оборачиваюсь и смотрю подслеповатыми глазами прямо в объектив бездушной камеры. «Убегай, — кричат мне кинодокументалисты, — не порти

нам кадр!» Я повинуюсь им и продолжаю семенить, но через несколько метров врезаюсь в плохо нарисованную декорацию: на меня падают какие-то балки, фанера, обрывки проводов, сыплется известь.

«Снято!» — кричит режиссер.

Я, втоптаный в зиму; пьяный, пьяный, пьяный. Тридцать лет уже длится эта зима, а для какого-то — триста. Две тысячи лет от Бога никаких вестей. Младенцы тоскуют по смерти. Щуки позабыли о магии. Голоса птиц превращены в камни. Я тихо умираю. Я каждый час тихо умираю; холодно, холодно, холодно. Я молюсь тебе, святой Иероним: «Позволь мне разбить грядку на краю твоего сада, и тебе, Дэвид Линч, — пусть этот сон перестанет тебе сниться».

Коллаген — это наше всё, ликующе сообщила мне провизор в аптеке и подмигнула. Но мне больше нравилось, когда еще пару лет назад у меня спрашивали паспорт при покупке алкоголя.

Я как Пруст: вспоминаю, чтобы быть несчастным. В настоящем укорениться почти невозможно. Кому это удастся? Лишь анахоретам да истинным безумцам. В грядущее я вообще не верю: какое будущее, когда ты обреченно плетешься по ленте Мёбиуса? Одно и то же, одно и то же, одно и то же...

Бывают дни, когда внутреннее напряжение достигает колоссального накала — до трансформаторного гула в ушах, до боли в любой точке тела, о которой бы ты ни по-

думал. Но вдруг на следующий день ты просыпаешься как после долгой болезни, и все замирает, и тишина повсюду, и ты сам намеренно молчишь и двигаешься стараешься осторожно, чтоб не спугнуть это новое состояние покоя. И наблюдение за собой в такие часы становится лучшим способом медитации.

А все равно было бы классно, если бы я рассказывал тебе по вечерам о своем прожитом дне, а ты — о своем; и я бы готовил что-то на ужин, и мы бы смотрели какой-нибудь фильм и немного обсуждали бы его; и я бы брал тебя за руку, и мы могли бы подолгу молчать, глядя на ночные, идущие на посадку самолеты. А еще мы бы раскуривали сигариллу и пускали дым в темное звездное небо — все, как ты любишь... Но и у этих строк нет адресата.

Вот и все, что осталось от дома моего детства. Теперь в его стены вмерзла тишина, и каждая щель в стене набита вечностью. Когда-то в паре этих смежных комнат звучали голоса моей мамы и бабушки. Они расторопно укладывали урожай желтых яблок в старые коричневые чемоданы — так яблоки доживали до Нового года. Однажды к нам в гости пришел пьяный дядя Аркаша и стал с хохотом гоняться за мной пятилетним вокруг круглого обеденного стола. Спустя какое-то время от беспробудной пьянки он потихоньку начал сходить с ума и катал по улице сани, на которые водружал патефон с пластинкой Утесова, и на всю сельскую улицу раздавалось «У Черного моря». В подъезде этого дома я впервые поцеловал девочку по имени Юлия. До сих пор помню ее взволнованные глаза и зардевшиеся щеки. А потом в моей жизни никого из этих людей вдруг не стало. Я оказался где-то далеко в другом времени, где совершил кучу ошибок и до сих пор продолжаю их совершать.

Каждый год я достаю из дальнего угла старую искусственную елку, картонную коробку с елочными украшениями и нерабочей электрической гирляндой. Со вздохом я собираю все это «великолепие» и ставлю в угол моей старой комнаты, в которой обстановка не менялась уже лет пятнадцать, где депрессивные обои формируют мои печальные дни. И каждый год я думаю, что весь этот хлам я использую в последний раз, что наступят другие, новые, чистые, свежие времена, великолепные времена, в которых будет блистать настоящая, благоухающая елка, и я вновь увижу себя юным в отражении огромного золотого шара.

Заметил, что когда я пьяный, то больше смотрю наверх: меня вдруг дико заинтересовывают ветви берез, стая ворон, куда-то летящая сквозь ночное небо, звуки, падающие с небес: будь то грохочущие истребители или успокаивающий гул пассажирского. Ночь для путника — космическая реальность. Помню, как дед Максим тащил меня пятилетнего на деревянных санях по занесенной свежим снегом деревенской дороге. Я лежал на спине и смотрел в распахнутое небо. Яркие, бесчисленные звезды окружили меня со всех сторон, они приказывали мне лететь им навстречу — и я радостно и безмятежно летел. Все остальное куда-то подевалось, стало тихо и покойно, дед Максим одинокой фигуркой тащил сани где-то там — далеко-далеко внизу. Я немел перед звездами, их безмолвное величие сообщало мне о чем-то важном. Тот я так и не вернулся из волшебного полета, зато, спустя годы, выросло чудовище, вобравшее в себя все страхи, всю нелепость и бессмысленность существования.

Здесь, на Земле, наша жизнь — всего лишь одна большая попытка безуспешно заполнить одну пустоту за другой.

Мне сегодня ночью приснилось, что я парень с Ближнего Востока в какие-то старые времена, тащу что-то тяжелое на гору, а противные толстые мальчишки кидают в меня снежками. Ряженные римляне копьями тычут мне в бок и велют поторапливаться. В глазах кружатся черные пятна, и после того, как я в очередной раз теряю сознание, я просыпаюсь в своей кровати — цел и невредим. Я слышу, как поезда провозят мимо богатства родины, слышу их гудки и понимаю, что на кухне осталась недопитая бутылка White Horse. Пока я иду на кухню, думаю о том, как непорочно мое сознание в данную минуту, как ни одна дерьмовая муха мысли или эмоции не срет сейчас в мой ментальный поток, а есть только четкая мысль про остатки вискаря, но тут злые толстые мальчишки вдруг начинают кидать в меня снежками, а ряженные римляне тычут копьями мне под ребра.

На днях приезжали какие-то старички от Оле Нидала из Австрии: бесконечно друг с другом чмокались и рассказывали о протестантском буддизме. Потом предлагали из кулька конфетки.

Я спустился в подвал, где сидели мои литературные рабы. В то утро понедельника все они находились за работой и делали вид, что меня не замечают. Все двенадцать огромных крыс стучали по клавишам в пульсирующих отблесках лампы дневного света, подвешенной над их плешивыми головами. Я и сегодня не понимаю, что мешало им наброситься на меня в тот миг и растерзать в одну секунду? Когда я поднимался по лестнице и закрывал за собой дверь, я понимал, что больше никогда их не увижу. Я зашел в подсобку и открыл вентиль. Невидимый газ устремился по трубам в подвал.

Сейчас я зарабатываю на жизнь тем, что краду собак в общественных парках, а потом продаю их корейцам. Корейцы пристрастили меня к своему кино, до этого я ничего подобного никогда не видел. В одном фильме очень старый монах женится на молоденькой сборщице риса, а затем они уезжают в Америку, и там он становится ее сутенером, а девушка пишет сценарий фильма на кнопочном телефоне. Сценарием заинтересовывается Тимур Бекмамбетов (его в фильме великолепно играет Киану Ривз), но монах зверски убивает зарвавшегося продюсера на заднем дворе при помощи огромных рыболовных крючков. В конце концов оказывается, что девушка совсем не девушка, а молодой парень, и монах обретает от этого известия настоящее сатори. Там еще есть продолжение, но корейцы пока не дали мне другую кассету.

Еще в шестом классе я начал выписывать журнал «Искусство кино» и, зачитываясь длинными киноведческими очерками, постепенно бросил учебу в школе. Тогда еще не было айфонов, на которые можно было снимать фильмы, поэтому я пошел на завод фрезеровщиком. Там Андрюха Колчанов научил меня много пить и втянул в разные сомнительные истории. Потом меня забрали служить на Тихоокеанский флот, а у нашего мичмана была VHS-камера. Он давал мне ее иногда, и я снял для его жены видеозарисовку. Когда мы сошли на берег, она призналась мне в любви. С тех пор я окончательно решил посвятить себя кино.

Моя подруга, пользуясь моими навыками в английском, переписывается с каким-то художником-японцем. И их переписка все более похожа на роман.

«Задуть все свечи» — так называется моя новая пьеса. Произведение основано на реальных событиях и имеет мощную авторскую подоплеку. Вот цитата: «Первым у меня начинает действовать тело. Сначала эти необъяснимые тонкие вибрации, сигналы из предстоящего будущего. Маленькими порциями они уже указывают на то, что с тобой в скором времени произойдет, как бы подготавливают к испытаниям. Еще бывают уколы в безымянный палец правой руки: тук, тук, тук — и мгновенным электрическим импульсом пронесется по всему телу, исчезающая где-то внизу живота. Тебе уже не выкрутиться, тебе нужно следовать за своим телом, начать слушать и понимать его как можно скорее: оно все знает о цунами и землетрясениях...»

Моя писательская цель довольно терапевтична: хочу сжечь свои фрустрации в топке зрительского внимания.

Однажды я летел из Японии. Накануне там я крепко траванулся йогогамскими морскими ежами (офигенными на вкус). Борт обслуживания японская авиакомпания, и первое, что они предложили — каких-то морских гадов. Еле подавив рвоту, я выпросил у стюардов литруху sake, да так и сидел с ней в обнимку все десять часов перелета. А вокруг русские мамочки приструнивали своих прытких японских отпрысков. И глядя в иллюминатор, я впервые в своей жизни наблюдал бледное северное сияние.

Все кончается внезапно: деньги, счастье, здоровье, жизнь. Время всегда против человека. Но в любом путешествии случаются вещи, которых ты никогда не забудешь. Тут обострена осознанность, тут время теряет свою сноровку, и горы уже не горы и вроде бы снова

горы. Взобравшись на гряду вулканического пепла, ты вдруг начинаешь вспоминать о себе неведомые истории, воскрешать глубинные переживания. И вот ты уже сидишь с бутылкой рома под камнем, под которым когда-то давным-давно ты насмерть замёрз, выслеживая местную скудную добычу.

Здесь горы — будто спины вынырнувших гигантских китов, по которым струями стекает тайга. Миллионы киловатт тишины сплывают пространство в напряженное поле, и сквозь прорехи в небесах на все это глядит невозмутимый Авалокитешвара.

Когда-то давным-давно закончилась одна изнуряющая война. Поймав в паруса юго-восточный ветер, я отправился домой — туда, где меня уже никто не ждал. Шли годы, но расстояние не сокращалось. Я научился скрываться от себя самого, организуя маленькие печальные жизни. Лишь сны указывали мне верное направление.

Я медлил.

В четверг явилась моя судьба. Она велела действовать. Повинуясь ей, я вторгся на свой остров, одно за другим истребляя собственные сомнения.

К понедельнику все кончилось. Я сел в кресло у моря и закрыл глаза. Пустынный берег рождал новое отчаяние, однако мне была дарована короткая пауза. Пребывая в этом моменте, я вспомнил другие такие же сотни своих предыдущих и будущих жизней.

Моя мечта — стать эстонским фермером и писать длинный роман. «Я как утка, люблю дождь и грязь», — говаривал Монтень. С трубкой в зубах я инспектировал бы поля с реди-

ской, а в мыслях по-гегелевски целился бы в действительность. И конечно, чтоб женушка была, и дом с зеленой лужайкой, и чтоб куча детишек на закате ползали по мне пьяному. Думаю, что после живущего должна оставаться лишь горстка вещей на выброс и его великое творчество.

Для меня шахматный клуб — самое спокойное и дружелюбное место в городе. Достаточно посмотреть на моих корешей: они просто излучают позитив, и не только потому, что уже приняли по сто. Шахматы — это философия сосредоточенности и всепоглощающего наблюдения. Вот я ни разу не встречал в своей жизни шахматиста-говнюка, а все потому, что эта древняя игра заставляет всматриваться в себя и своевременно от лишнего дерьма освобождаться. Мой постоянный напарник похож на Джеффа Бриджеса, и чтобы хоть как-то быть с ним на равных, мне пришлось покупать шахматный учебник Бобби Фишера.

У директора музыкальной школы, в которой я учился, была любовница — Любовь Анатольевна. Она элегантно курила длинные желтые сигареты и была женщиной очень властного характера. Сам директор безбожно бухал, но был человеком в глубине души добрым и справедливым. К тому же от него всегда несло дорогим одеколоном. Анатолий Иванович преподавал баян: недолгое время я был его маленьким испуганным учеником. Преподавателем он был страстным и нетерпеливым, поэтому то и дело колотил своей ручищей по моим заплетаящимся пальцам. Так вот, сквозь слезы, я учился исполнять на баяне фуги Иоганна Баха и даже получил диплом третьей степени на музыкальном конкурсе им. Чайковского. Как сейчас помню его последний урок: Анатолий Иванович был вусмерть, а я все никак не мог справиться

с одним сложным пассажиром. Тогда он выхватил из рук моих инструмент, но не удержал равновесия и свалился прямо на ковер директорского кабинета — да так и остался лежать неподвижно с баяном. Пока я гадал что предпринять, в кабинет стремительно вошла Любовь Анатольевна и объявила, что на сегодня занятие окончено. С тех пор директора я никогда больше не видел, но говорят, что он развелся и уехал с любовницей в далекий северный город преподавать игру на баяне.

Я жадно хватаюсь за последний месяц лета, ведь за августом всегда следует осеннее увядание, а затем и полугодовой анабиоз, из которого, кажется, не выбраться никогда. В августе орбита человека наиболее приближена к природе, мы лицом к лицу встречаемся с негой и изобилием. В этом месяце нужно много путешествовать, по крайней мере в фантазиях. Я, к примеру, совершенно наяву совершил скорый манёвр от горных ручьев Приполярья до впадения Казанки в Волгу. Теперь мой «гольф» залит сладким сиропом казанских лип, а я счастлив как дурак, и покупаю в «бешетле» вишневый сидр, и брожу с ним до утра без страха и надежды.

Я как скульптор: единственное мое занятие в нынешние времена — отсекай все лишнее, а это довольно непростое дело. Кажется, что вот уже все лишнее отсекай, как вдруг появляется новое лишнее и тоже требует отсекания. Иной раз подумаешь, что вот это ну никак отсекай нельзя, а спустя время понимаешь, что можно, что прекрасно без этого обходишься. Но мера в этом деле тоже нужна — уж ее отсекай никак нельзя. Зато для меня теперь совершенно ясно: чтобы пробиться к настоящему себе, нужно сказать тысячу «нет».

Вот что действительно неприятно в смерти — так это то, что с твоим телом начнут долго и нудно возиться.

В плацкартном вагоне можно ни о чем не думать и ни о чем не жалеть. В плацкартном вагоне можно прислушиваться к голосам пожилых женщин, к их сетованиям по поводу пьяницы-зятя, к их дотошному обмену рецептами. Можно читать Борхеса или есть холодную картофельную запеканку из пластикового контейнера. В современных плацкартных вагонах прямо под столиками есть электро-розетки для зарядки мобильного — теперь его можно безостановочно заряжать, не боясь остаться без связи. Купив у проводника два магнитика с символикой РЖД, можно, не страшась штрафа в полторы тысячи рублей, курить в тамбуре. Из плацкартного вагона можно выйти на станции Тёплая Гора, вдохнуть в легкие ледяной воздух и получить глубокий экзистенциальный экспириенс. Суть его в слишком очевидном прозрении: что выйти на самом деле никуда нельзя, что вся жизнь — это унылая тряска в плацкартном вагоне с заранее известным пунктом назначения.

В уютном купе скорого «Владивосток — Москва»
Тетка — социокультурный менеджер
Составляет сравнительные таблицы
Недавних проектов,
Успешно ею реализованных
В рамках федеральной программы.
Блестящий монитор ее лэптопа
Демонстрирует весь спектр
Выполняемых ею задач:
Вот она ловко руководит людьми
(Красные квадратики),
Внедряет коммуникативную прогрессию
(Зеленые квадратики),

Работает над инновациями в заявленной
ею сфере

(Желтые квадратики),
Пробует проче
(Синие соответственно).
Весь ее труд
Складывается в причудливое
Цветовое панно.
Заметно, что уже не впервые
Тетка эта достигает столь совершенной
гармонии.

Внезапно поезд останавливается.
В окно видно реку,
А на реке одинокая фигурка
Рыбака – ловца окуней, моментально
застывающих возле лунки.

Как натура чувственная,
Тетка всматривается в законную статику.
Она смотрит словно в картину Брейгеля.
Да! Здесь те же цвета,
Тот же композиционный ритм!
Какое сатори! Вот преподносит ведь жизнь!
И тетка мысленно благодарит
провидение за остановку,
За подаренное ей эстетическое
удовольствие.

Вскоре поезд трогается,
А еще через минуту
Из ресторана приносят горячее.

Я чувствую и невероятную близость, и непреодолимое между нами пространство. Мне трудно дышать: печаль скопилась в легких, тоска осела в животе. Я как астронавт, пуповина которого оторвалась от орбитальной станции, а сама она медленно и навсегда проваливается в темные пучины космоса.

...Я пишу тебе это письмо, изводя листок за листком. Окоченевшие пальцы в липких чернилах. Помнишь, ты стояла на берегу озера, а я мысленно прокручивал нашу счастливую историю, в которой мы умудренными стари-

ками едем на Гоа, врезаемся на арендованном харлее в придорожное дерево и беспечно покидаем этот прекрасный-прекрасный мир? Но вместо этого мы выпестовали кучу заблуждений и одно нескончаемое безумие, так и не дав расцвести цветку нашей любви. Все мои чувства к тебе превратились в боль, которая ежесекундно сверлит мой мозг. Я смотрю в бездну и вижу лишь мрак одиночества, лишь сотни уродливых ликов. Смятые простыни и пачки сигарет возле кровати, гул в ушах и лютая бессонница. Всякую ночь я встаю и пишу тебе это письмо, зная, что однажды в нас навсегда умолкнут голоса друг друга...

Мой дорогой, измученный и несчастный Trunk! Мне так горько наблюдать за твоими жизненными мучениями, за твоими попытками обрести себя истинного, за твоей ежедневной неизбывной болью. Я включила Арво Пярта в своем космолете, его Odes of Repentance, ты помнишь эту прекрасную музыку. Очень скоро я прилечу за тобой и избавлю тебя от этих невыносимых мучений, my sweet. Мы полетим вместе, в разверзающееся перед нами пространство, подальше от этой безысходности. Я возьму твою руку и прильну к твоему лицу своей холодной от слез щекой. Я знаю, что ты меня еще долго не услышишь. Но ты пробудишься, все схлынет. Ты обнимешь меня в прекрасном яблоневом саду, и наши соки сольются. Я люблю тебя, я радуюсь тебе, ибо с этого момента мы с тобой навечно.

Однажды мы с бабушкой решили отпраздновать китайский Новый год. С годами она становилась все более молчаливой, но свою фирменную рябину на коньяке готовила исправно: долго мыла, а потом высушивала ягоды, обжаривала сахар на медленном огне до золотистого цвета, бесконечно перемешивала вязкую массу (ухмыляясь чему-то

все время и напевая вполголоса, как простуженный голубь), потом заливала слегка мутноватый коньяк из пластиковой бутылки, который ей каждый год привозил из Грузии дядя Тамаз (наш старый добрый знакомый). Мне всю эту патоку приходилось разводить водкой, а бабуле нравилось «сладенькое». Обычно мы оставались немногословны как пара дзенских патриархов. Но вдруг бабуля скажет что-нибудь, и сразу открывался портал в дремучее запределье. И я летел туда, кувыряясь, как Алиса в кроличьей норе: вещи, лица, воспоминания.

И теперь в незапамятных зеркалах бабушкиного дома я вижу отражения постаревших глаз шестилетнего мальчика.

Я сегодня собрался к реке и сел в автобус. В какой-то момент мне стало очень грустно, я вдруг понял, что все эти пассажиры, которые сейчас едут со мной, когда-то навсегда исчезнут. Мне нестерпимо захотелось всех их обнять и успокоить, и наговорить всяких хороших вещей. И вот этой старушке напротив, чей кончик носа уже доставал до нижней губы и которая тоже всех жалела – это не скрыть. И парню, который разговаривал по сотовому и велел кому-то составлять такой договор, чтобы мужик, который делит с ними арендную площадь шёл на хрен. И девушке парня, которая обнимала его во время разговора, нежно полуприкрыв глаза, и кондукторше, которая смиренно вытирала шваброй пролитое кем-то под сидение, пиво. Быть может, с такой же грустью Иисус в последний раз смотрел на своих учеников. Через полчаса я шёл по пустынному берегу, отпивал из бутылки и думал, что никогда уже не забуду этих пассажиров.

Сегодня был у нарколога (права надо менять), разговорились. «Пьете два дня крепко?» – спрашивает. А я ему: «Не помню, когда

это правило нарушал». Нарколог улыбнулся, подумав, что это шутка. «И по утрам бывает?» – настаивал он. «По утрам я особенно люблю накатить, – не соврал я. – К примеру, коньяк по утрам заставляет все вещи вокруг струиться ляпис-лазурью и вообще здорово меня вдохновляет». Нарколог завел руки за затылок и откинулся в кресле. «По вам вроде не скажешь», – засомневался он. «Когда моя дочь привела своего ухажера, чтобы мы познакомились, – продолжал я, – она сказала: «Посмотри-ка на моего отца (ткнув в меня пальцем), он выпивает по два шираса за вечер, но выглядит гораздо моложе тебя, сечешь?» Нарколог выпрямился и сказал: «Но вы же понимаете, что, как честный врач, справки я вам дать не могу?» «Но я же вижу, что история вам понравилась, – ответил я. – К тому же деньги в кассу я уже внес». «И то верно!» – сказал нарколог, размашисто расписываясь в справке.

Я вот считаю, что сериалы (если это не стёб, конечно, как у Линча) – полная херня: мелко, картонно, нудно, по-бухгалтерски рассчитано и потому всюду притянута за уши, словом – отстой. Не скрою, я сам подсаживался и на «Игру престолов», и на «Карточный домик», чего уж греха таить. Но, досматривая с воспаленными глазами последнюю серию хренова сезона, я всегда ловил себя на мысли, что меня очередной раз отымели и опустошили. Кроме конструкта шоу, мне и подумать больше не о чем особо.

И вот с этими мыслями нарываюсь я буквально на днях на «Дикую жизнь» Пола Дано. Фильм этот не о том, как кого-то обмануть (спецслужбы, любовницу, судьбу, смерть – о чем, собственно, все сериалы), но о том, как больно жить в этом мире. Как в отсутствие стратегических целей (смысла жизни) такое понятие, как «семья», уже никому не нужно – разве лишь растерянным подрастающим детям. Фильм нарочито прост и снимался ради прекраснейшего последнего кадра, в котором смущенные и навсегда уже разведен-

ные в разные стороны родители, повинуюсь просьбе своего сына, неловко усаживаются для совместной фотографии. И фотография эта — свидетельство их окончательного разъединения, ибо любовь ребенка слишком мала для этого мира, и уж в мире взрослых точно ничего не решает. У меня ком в горле до сих пор — какой там очередной эпизод! Мне бы на паузу поставиться хорошенько — гори в аду, Netflix.

Одной из самых действенных для меня терапий является выбрасывание вещей. Иногда это даже не хлам, а напротив — штуки нужные и полезные, однако без которых я как-нибудь проживу. Сегодня я делаю уборку и выбрасываю: овощечистку (все равно по привычке чищу ножом морковь); набор для ароматерапии (надоел уже этот запах); книжку под названием «Необычные блюда из обычных овощей» (что тут комментировать); пальто Gant, которое носил лет пятнадцать (и которому хоть бы что), но на днях подруга сказала, что оно выглядит старомодно; набор проводов от компьютера, которые я уже долгое время никуда не втыкаю; наголовный фонарик и шахматы (потому что не хватает половины черного войска, хоть белое и в полном составе).

Сегодня я отчего-то вдруг вспоминаю своего дядю, который часто брал меня маленького в плавание на судне с подводными крыльями под названием «Ракета». На судне продавалось пиво «Жигулевское», которое дядя очень любил, ибо никакого другого пива в то время больше не водилось. Дядя покупал себе эти коричневые бутылки с полуотваливающимися этикетками, а мне брал подсохшие бутерброды с варёной колбасой. Помню, как он удобно устраивался в кресле и откупоривал первую бутылку. Почти мгновенно разносился приятный аромат, так и ассоциирую-

щийся у меня с тех пор с путешествием. Потом дядя выпивал ещё и ещё, и скоро мы шли на палубу, где яростно свистел ветер, и оттуда бросали остатки недоеденных мной бутербродов чайкам. Дядя был пьян и счастлив, он подхватывал меня на руки и сильно стискивал — и я от этого тоже становился счастлив. «Ракета» мчалась, ветер свистел.

Я совсем не против, чтобы в иной мир меня сопровождали христианские ангелы: они всегда такие стильные, такие расслабленные, такие вечные. И вот мы бы шли с одним из них по гравийной дорожке, конечно же босиком, а ландшафт был бы непременно итальянским и повсюду бы расстился туман, как в фильмах Тарковского. Мы бы молчали, ибо любые разговоры в этих местах бессмысленны. Внезапно ангел бы остановился и развернулся ко мне, и глянул бы своим всепроникающим взором в мои грешные глаза и кротко бы улыбнулся. Затем он набрал бы сакральный код на своей груди, и из его живота с приятным электрическим жужжанием выкатился бы мини-бар, а я бы стоял смущенный, не зная какой из напитков выбрать в столь неожиданный момент. Но ангел уже бы втыкал штопор в бутылку с баденским рислингом и разбрасывал лёд по хрустальным бокалам. Ночь напролёт мы бы пили и хохотали, и курили Lucky Strike. А наутро нам бы уже никуда не хотелось идти. И мы бы превращали воду из ручьев во французское вино, а прибрежные камни — в камамберы.

В пору моего детства август был такой: солнце щедрою рукой разливало свой теплый мед в разжиревшем зеленью бабушкином огороде. Пахло избытком сырых овощей и безумной мешаниной торжествующих трав. Моим обиталищем становился старый чулан с маленьким оконцем, зарешеченным накрест двумя скобами, где я листал исписанные при-

лежной маминой рукой тетрадки. В тетрадках были ее школьные, еще чернильные старания по химии и литературе. Тетрадки были влажноватые и веяли запахом, который я уже никогда не почувствую в своей жизни. Прямо в огороде бабушка растапливала буржуйку, которая, как маленький заброшенный паровоз, дымила во все стороны. Когда поверхность буржуйки накалялась, бабушка бросала на нее скорую нарезку кругляшей свежеевыкопанной картошки и окликала меня по имени, которое я уже никогда не услышу.

Неужели она беременна? А ведь я еще даже руки не попросил.

Посмотрел несколько фильмов Ким Ки Дука и понял, что совсем еще по-настоящему не страдал в своей жизни.

Мне снится, что я юная корейская девушка, прикованная к постели (пила с шести лет, ампутация обеих ног). И вот я лежу и пишу прямо в телефоне длинный-длинный роман без знаков препинания, без сюжета, темы и главного героя. Мама приносит мне миску кошачьего корма, разбавленного теплым молоком, и улыбается. За окном тысячами листьев шуршат ивы, сквозь ветви которых в мою комнату пробиваются солнечные блики. Я не намерена заканчивать этот роман, давно уже ставший частью меня — моими, пусть будет позволено мне так сказать, отсутствующими ногами, которыми я каждое утро бегу по залитому росой лугу. Я с благодарностью беру из маминых рук миску и тоже улыбаюсь.

무슨 개새끼야 — говорю я ей.

Теперь, когда я вручил ключи жизни своей собственной судьбе, мне живется чуточку проще. Вчера я управлял лифтом в нетрезвом состоянии (уехал на два этажа выше), но уже сегодня с раннего утра залез в горячую ванну и включил Annie Lennox — для того только, чтобы освежить память о себе юном. Потом решил немного пройтись. Какой-то мужчина восточной наружности пронзительно залаял на меня (клянусь всеми американскими богами) из окна своей тюнингованной «четырки». Довольный собой, он залиристо захихикал — пока не исчез из зоны моей слышимости. Вагоновожатая вышла из трамвая в оранжевой жилетке и на огромных каблуках. Она легко схватила лежащую на рельсах уличную урну и вышвырнула ее на обочину. На одной из центральных улиц я встретил пару своих знакомых. Один из них сильно повлиял на мою жизненную траекторию, хотя об этом никогда не догадывался.

«Я много чего умею, — подумал я. — Осталось научиться быть счастливым».

Мой главный план — никаких планов. Я устал ставить и сносить на гаджетах всякие планировщики и другие тудушки. Не то чтобы спонтанность правит моей жизнью, но я принимаю к рассмотрению все варианты, которые она предлагает. А у жизни, как известно, свой ежедневник (и лишь дедлайны еще держат меня на плаву). К примеру, еще сегодня утром я никуда не собирался, а теперь мой железнодорожный билет лежит на столике купе как индульгенция к ничегонеделанию. Сейчас буду читать о последнем побеге графа Толстого, а может, закажу ужин.

Вот вы говорите — сериал «Чернобыль», а ведь есть еще и фильм Миндадзе под названием «В субботу» — на ту же тему. Тогда

как «Чернобыль» — это феномен, в первую очередь сценарный (научно-познавательный, историко-просветительский), то «В субботу» — яркое режиссерское высказывание. Смотреть фильм я начал с неким скепсисом (в сцене пожара было задействовано всего две машины и расчет максимум из семи человек), однако, глядя на метания истово заряженного психической энергией главного героя, постепенно втянулся. Диалоги тоже такие мне очень нравятся:

— А чё такое, Валерка?

— А чё такое, Петро?

И валяются в траве, облучаются.

Картинка все время мельтешит, как в клипе какой-нибудь инди-группы — так режиссер заставляет и нас завибрировать, зрителей. Кстати, водку здесь пьют гораздо меньше, чем в сериале, налегают в основном на красную.

«В субботу» повествует о том, как случаются в истории такие дни, из которых ни за что не выбраться ни главному герою, ни, в конце концов, целому поколению.

Есть там очень впечатляющие сцены — и все они про человека.

Теперь повсюду на Земле появляются предвестники последних дней этого несчастного мира — Ангелы смерти. С каждым днем их прилетает все больше и больше. Американская военщина считает их неопознанными летающими объектами и сбивает с помощью истребителей. Китайцы на такие действия пока не решаются: они, как всегда, мудро выжидают. По неподтвержденной информации, ЦРУ допросило одного из выживших Ангелов (он упал в озеро на границе с Канадой). Оба участвовавших в допросе высокопоставленных офицера (злой и добрый) вскоре были найдены мертвыми, а Ангел смерти бесследно исчез. Грета Тумберг написала в своем X, что больше никогда не будет верить взрослым.

«Это было весело!» — вот что я скажу, когда самолет накренится и начнёт своё неумолимое падение, вращаясь и кувыркаясь, как замертвевший осенний лист. Мои пальцы вопьются в подлокотники, костяшки побелеют, но все это лишь остатки трепещущей жизни, вечно цепляющейся, вечно ненасытной. Как мне скрыть это ликование перед лицом смерти? Как в эти последние секунды выразить свою благодарность за мимолетность и бессмысленность существования? Вот он — последний танец планет в моем воспаленном сознании, миллиарды световых лет в моем последнем мгновении. Я нежно отпускаю свою последнюю привязанность. Было весело.

Может быть, я храбрился все это время, убеждая себя в том, что возраста, самой старости не существует (по крайней мере, для меня). Мне в последнее время казалось, что все еще впереди, что сейчас я от всего очищусь и шагну в золотую свою эпоху — созидательную и счастливую, ведь я только подготавливался ко всему тому, чему еще только предстоит свершиться. Я и сейчас не потерял эту веру, но кто-то вдруг будто бы пристальней стал наблюдать за мной, подавать многозначные и тревожащие знаки. Во мне включилась арифметика конца, запустилась генная программа под кодовым названием «эпилог». Я покупаю все меньше вещей и уверен, что некоторые из них станут свидетелями моего конца. Нет, страха нет. Гнетет лишь перспектива томительного увядания. Я, как «Титаник», переломился на две неравные части — одну уже не разглядеть в темной бездне вод, другая медленно погружается, еще украшенная мерцающими огоньками.

Вчера проезжал мимо кладбища, решил остановиться. Огромное заросшее поле, тес-

ные ряды разношерстных могил, количество которых неостановимо разрастается и уже творит экспансию в соседний мрачный лес, под темные ели. Мужчины, женщины, старики, дети — все они теперь томятся глубоко в земле в ожидании грядущего Пришествия и окончательного Воскресения. Невольно начинаешь гадать: а какой же периметр уготован мне? Вот тут под сосной, кажись, посуше. Становится спокойнее, хотя это далеко не твой выбор. В конце концов я решил, что в таких местах стоит вести себя поэтично, и вспомнил стихотворение из «Интерстеллара»:

*Не уходи безропотно во тьму,
Будь яростней пред ночью всех ночей,
Не дай погаснуть свету своему!
Хоть мудрый знает — не осилишь тьму,
Во мгле словами не зажжешь лучей.*

После каждого запоя передо мной заново выступает обновленная и сияющая Истина, как будто спадает с моих глаз пелена и в небе являются для меня новые зори. Я не успеваю записывать в дневники все свои свежие чувства, это обновленное, словно после Иорданского крещения, восприятие жизни и мира; фиксировать ту, еще смутную, но неизбежную радость ежеминутного бытия. Здравствуй, все мои книги! Здравствуй, мой утренний чай! Здравствуй, мое одиночество — мой оплот, моя родина!

Мы слегка задеваем друг друга, торопясь мимо, и у нас остаётся слишком мало времени, чтобы строить отношения, которые бы действительно нам что-то давали.

В прошлой жизни я был рыбой-сорняком, а попросту ершом. Все меня не любили: как

выловят — плюнут мне прямо в выпуклые глаза и бросят обратно в речку. Приходилось клевать снова и снова, уж так хотелось внимания. Сегодня, когда достаточно завести какую-нибудь соцсеть и получать сотни и тысячи лайков, такой экзистенциальной проблемы не существует в принципе. Вот я за каждое ваше сердечко получаю десять тысяч условных единиц, которые отправляю на борьбу с борщевиком в северные города России. Это ещё что, однажды сам Максим Горький попросил у меня зажигалку!

Я уже раньше писал, что был ершом в прошлой жизни и спокойно плавал меж речных русалок, ненароком задевая хвостом их девственные соски. Однажды меня выловил толстый мальчишка и сильно на меня рассердился за то, что я ему клюнул, а не какая-нибудь плотвичка. Мальчишка схватил меня за хвост и стал бить мною по деревяшке, выбивая из меня жизнь. Было оглушительно больно в первый, второй, третий раз, а дальше я уже не помню. В следующем перерождении мальчишка стал моей женой. Я не сразу его узнал, но потом, по некоторым повадкам, а особенно по взгляду понял — это тот самый толстяк. Мальчишка-жена смотрела на меня точь-в-точь как на ерша, а я вспоминал рядом с ней свою предсмертную агонию. Вместе мы уже тридцать два года.

По-моему, Финчер окончательно спятил, превратив свой последний фильм в радиопостановку. Закадровый голос методично иллюстрирует нехитрую историю промахнувшегося киллера и его же банальную (и единственную во всю дорогу) мантру, похожую на философские максимы из «вконтактика». Мой любимый артист Фассбендер оказался превращен здесь в пластикового статиста (Кен, надо сказать, выглядит на его фоне гораздо психически подвижнее), наделенного уже старомодной

пластикой машин-убийц из «Терминатора». Весь фильм наивен (в плохом смысле слова), однако главный факап — отчего это другие киллеры, поехавшие «подчищать хвосты» за главным героем на Доминикану, не подчистили свой собственный хвост, оставив в живых подружку Фассбендера (только если не затем, чтоб хоть как-то двигать сюжет не-задачливого фильма). Ну и эта тема с эксплуатацией низменных человеческих инстинктов, типа мести — ее ведь давно уже блестяще исполнил Триер, разве нет? Единственная, кто неизменно хороша — Тильда Суинтон, пьющая в ресторане бокал за бокалом. Ее не портят ни годы, ни плохая режиссура.

Аристотель придумал свою форму счастья, которую назвал «эудаймония», что в переводе буквально означает «дух совершенства». С недавних времен дух этот витает где-то возле меня: я чувствую его, как запах газовой утечки. Но одно дело чувствовать, другое — ухватить. Вот здесь сноровки у меня явно не хватает. Пусть так, но я хотя бы стал фиксировать мимолетные знаки его присутствия. То вещичку какую-нибудь из Икеа соберу и радостно подивлюсь на плоды трудов своих; то вдруг выйду в «Пятерочке» неплохой рислинг по акции; то случайно плесну кофе на незаконченную акварель — и она неожиданно оживает! А сегодня я вообще пролежал весь день дома, ничего не делал, и так ясно осознал, что я очень совершенно ничего не делаю, очень по-аристотелевски. Вы воскликнете: «Ну какое же это счастье?!» И я с вами соглашусь. Я уже давно заметил, что со многим соглашаясь, вот-вот ухвачу этот дух за хвост.

Встретил у пруда робкую девушку, и прочёл ей подходящее случаю стихотворение. По моим наблюдениям, как только перестаёшь заучивать и читать стихи, тут же тупеешь и становишься крокодилом. Раньше я всякий день

зубрил по одному стихотворению и мог сколь угодно долго развлекать даже самую взыскательную особу. К слову, девушки охотно проваливаются в метафизические бездны и благодарно бродят по заливным лугам рифм и метафор. Некоторые оставляют потом номера своих телефонов, а некоторые и рубцы на сердце.

Если хочешь долго жить, держи дыхание в животе.

Иногда я роюсь в своих старых записях и нахожу что-то подобное: «шутка с огурцами, хорхе, сартр, палладиевые наконечники, супермаркет, разбил банку о дверь». Какой это имеет смысл — мне уже неизвестно, а память в помощники не идёт. Такое чувство, будто я обнаружил притаившегося во мне чужака, загадочного и недосягаемого. Если ещё посмотреть на дату этих записей, то все становится ясно: за семь прошедших лет все клетки моего организма успели полностью обновиться и я теперь не тот я, а совершенно другой — к которому нужно привыкать заново. Вопрос: кто это тот крошечный «я», которому всю жизнь что-то нужно от меняющегося меня?

Ночью осенний ветер перетасовывает все улицы, так что к утру город почти неузнаваем; рощи насквозь продуваются городской какофонией, а пыль повисает на острых лучах солнца. Я беру термос с кофе и бутерброды с колбасой, и наматываю в этом обновленном пространстве по 20–30 километров, но и этого всегда мало. Тогда я забредаю в ближайший К&Б и беру их отвратительное пойло, чтобы пройти еще километров пятнадцать с намерением никогда не отыскать дорогу назад. Но как старый пёс, я неизменно оказы-

ваюсь у порога своего собственного дома, где становится еще паскуднее, ибо идти дальше некуда. Откуда я хоть что-то знаю про любовь — чудовище, извивающееся на бессонном ночном ложе?

Я то и дело порываюсь разобрать свой фотоархив. Приступы случаются примерно раз в пару месяцев. И вот я хватаю четырехтерабайтник с полной решимостью создать стройную и логически постижимую галерею: в голове уже есть план, а мусорная корзина будет мне верной помощницей. Но как только я клацаю по первой же попавшейся папке и вижу объем материала, весь мой пыл мгновенно улетучивается. Я бессилён выбросить даже бесчисленно повторяющиеся дубли. Драгоценные пиксели, квинтиллионы нулей и единичек, безвозвратно уходящий в глубокие слои литосферы балласт памяти. Каждое новое фото хоронит предыдущее, а будущее уже настолько мало, что не способно вместить в себя прошлое. Я отключаю диск и бережно укладываю его в пластиковый контейнер ИКЕА. Символические похороны свершились и я вновь свободен на ближайшие пару месяцев.

Вы не представляете, как меня швыряло в этом году: то я хотел стать лесником, то пойти на курсы геймдизайна, то лепить из глины чайники, то писать по тыще знаков в день. В июле мне захотелось побить что-нибудь из книги Гиннеса, но пробухал весь месяц и затея рухнула. В августе я пошёл по грибы, а вернулся лишь к концу сентября. В итоге я продал свою бас-гитару и стал наблюдать за утками в соседнем парке. Утки сколачивали стаю, чтобы двинуть на юг, и ели все, что приносили им дети из соседних булочных. Среди уток был один селезень без пары: он плавал в озерце, не ел и о чем-то напряжённо думал. За это я его прозвал Витгенштейном

и мысленно с ним подружился. Казалось, утки обосновались здесь навсегда, день ото дня их число только росло, но однажды все они разом исчезли: лёд сковал озерцо за одну ночь. С Витгенштейном мы так и не попрощались и, как знать, увидимся ли вновь. Думаю, что мы оба не знаем, для чего мы здесь — но точно не для того, чтобы наслаждаться жизнью.

Я старый, измученный монах, от которого воняет дешевым дербентским коньяком. С утра запрягаю в свои сани лень, похоть и злобу на самого себя (если ее вовремя не утолять, прикладываясь к фляжке). Я задумал одну веселую и поучительную пьесу и даже расчистил стол, но потом прокрутил ленту новостей и плюнул — это как пролить на раскаленную сковородку рапсовое масло. Я повсюду искал человека, чтобы хорошенько узнать и полюбить его, но, к счастью, поиски мои оказались тщетными. И я давно хотел сказать, что всей душой ненавижу фильмы Хичкока — в них одна манипуляция и бутафория.

Сегодня только узнал, что в загробном мире нет ни одного бара. Вообще, загробный мир представляет собой один большой пансион на берегу Чилийского моря, как в фильмах Рауля Руиса, который освещается золотистыми лучами закатного солнца. У каждого постояльца есть своя небольшая комнатка, заваленная милым сердцу барахлом с того света, а в вестибюлях полно роскошных зеркал. Время там никуда не течет, а представляет собой спрессованный вечер, через который не так-то просто продираться, особенно без бухла. Скука вынуждает постояльцев вести друг с другом бесконечные разговоры о разных пустяках, вроде монгольской истории или о брачных танцах райских птиц. Иногда волны выносят на берег тяжелые зеленые бутылки с буддийскими сутрами внутри, но, по правде говоря, лучше бы в них был ром.

«Дорогой Слон! В школе нам задали сочинение по твоей «малой прозе», как выразилась училка, по всей видимости, влюбленная в тебя по уши. Я покрутила ленту твоей инсты и ужаснулась: 1) твоей поверхностности; 2) твоей удручающей тематической тавтологии; 3) твоей эмоциональной инфантильности (при условии, конечно, что ты пишешь искренне). Вся суть твоих постов сводится лишь к паре вещей: все мы валимся в иррациональную бездну и что ты устал переосмысливать простой факт своего персонального существования. Ну и еще это твое постоянное нытье об утраченной (или никогда не обретенной) любви к женщине (тут тебе не помешало бы поучиться у Набокова). В связи с этим у меня возникает вопрос: не мог бы ты удалить свой аккаунт, чтобы одной головной болью стало меньше? Уж я бы лучше писала сочинение по мотивам поэзии Шнурова (глубже и разнообразнее) или по рассказам Лимонова (несравненно правдивее и эпатажнее). С уважением, Даша.

P.S. С возрастом большинство мужчин превращается в мерзких жуков, но не обязательно афишировать этот факт».

Мне снова пять. Я позирую с найденными мной двумя огромными белыми грибами для маминого восьмимиллиметрового фильма. Еще через пять лет мама умрет от отравления вешенками (а может быть, их ядовитыми собратьями). Потом начнется жизнь, которую необходимо будет кое-как прожить самому и мало что хорошего в ней запомнить. Но пока мне пять и, кажется, что я счастлив (ведь я еще ничего не знаю о предстоящем). Я вдыхаю прелый запах грибов, вижу хвойные иголки на их коричневых шляпках, держу их за древние грибные ножки. Я не могу разглядеть снимающую меня мать — она скрывает свое лицо за камерой. Я вижу только себя в золотых лучах августовского солнца. Потом я разворачиваюсь и иду куда-то вглубь

леса, пока совсем не скрываюсь из вида. Еще какое-то время камера продолжает снимать пустую поляну.

В последнее время всё во мне поменялось: от мировоззрения до стула. И всё это — результат пристального перепросмотра, а также чтения стихов акмеистов на ночь. Оказывается, изменить жизнь не так уж и сложно: руководствоваться нужно истинами, заложенными внутри тебя самого, научиться их слышать. И вот я хорошенько поковырялся и кое-что нашёл (да-да). Уверен, что у каждого это «кое-что» сугубо своё, и ещё более уверен, что в каждом оно безусловно присутствует. Но, конечно, нужна неистовая энергия, чтобы разобрать весь этот хлам в своей голове. За все свои такого рода эксперименты я расплачиваюсь собственным одиночеством. Однако, в моем случае даже простой глоток чая становится значимым событием, а неожиданная встреча — божьей благодатью.

Мы должны просто тихо исчезать. Многие из моих друзей и знакомых уже так и сделали. Некоторые из них остались в закоулках моих зыбких воспоминаний, но большинство — уже и нет. Официантка моей памяти подмешивает в мой чай цветки асфодели. Андрюха С. был из них первым: школьник младших классов, он начал аптечный пузырек целлулоидом, поджег его и закрутил крышку. Он слишком долго держал пузырек у лица, разглядывая, замороженный, как едкий густой дым разливается по чересчур тесному пространству склянки. «Андрюха, бросай!» — отчаянно кричали мы ему. Теперь эти слова разносятся в моей голове умирающим эхом: «Бросай, бросай, бросай...» Единственное, что меня пугает в смерти — это ее, хоть и краткая, публичность.

Дорогой мой, восьмидесятилетний я! Я только что поужинал печенью трески, запив ее Chateau Garriga St Martin Bordeaux AOC 2016. Тебе наверняка сейчас такого не найти, а если и найдёшь, то такая выдержка для тебя точно не по карману. Впрочем, и целая банка жирной печени в одночасье сведёт тебя в могилу. Ты уже наверняка подзабыл меня такого – ведь целая вечность минула. А может, где-то в глубине своей неведомой мне души ты вдруг остался вместе со мной в моем далеком прошлом. И все же, старик, я надеюсь, что ты нашёл то, что я так упорно искал. Искал почти тщетно, почти не без надежды. Знаю, что ты сейчас одинок и некому помочь постричь твои окаменевшие ногти на ногах (если только ты не стал выполнять упражнения из книжки по цыгун, которую я купил на прошлой неделе). Как бы там ни было, я верю, что сейчас ты умиротворен, что не боишься умереть, что сделал все, что мог, и все, что должен был сделать. Дорогой мой восьмидесятилетний я! Я верю, что тебе не страшно, как мне сейчас, что жизнь твоя не прошла напрасно, хоть я и продолжаю попусту растрачивать её каждый день, каждую минуту... Как бы мне хотелось сейчас тебя обнять, но ты же знаешь, что бухло продают только до 23:00 и теперь мне нужно срочно торопиться пополнить его запасы. Ты там

не грусти, чувак, и, помолившись, ложись-ка спать. Может, когда-нибудь свидимся.

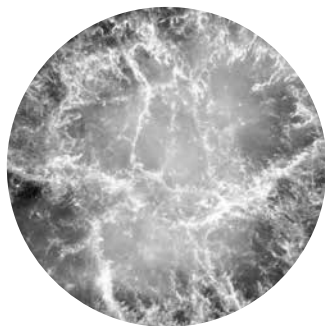
Если бы мне оставалось жить всего месяца, то я бы, конечно, не пропустил ни один рассвет. И конечно же, я бы поехал к морю. К северному, безлюдному морю. Шёл бы вдоль кромки и улыбался. Затеял бы в голове шахматную партию. Оставил бы тридцать коротких, как сама жизнь, стихотворений. Переслушал бы Radiohead и Малера. Возможно, в самый последний день мне стало бы по-настоящему страшно – то чувство, когда напрочь парализована воля. В этот день нужно просто идти – вдаль, без остановки, не оглядываясь.

Я уже почти знаю, как быть счастливым в мои заключительные годы: это быть в тишине, в тихой одинокой радости среди горстки моих любимых книг где-нибудь на краю цивилизации в старом глинобитном доме, забытым даже самыми близкими людьми, созерцающим пыль в лучах заходящего солнца, находясь в средоточии тонкого острия успокоившегося и медленно исчезающего сознания.

Элвис Бего

Музей призраков

перевод Андрея Сен-Сенькова



Где-то в платоновском облаке идей существует музей призраков, пещера, наполненная произведениями искусства, которые не отбрасывают тени, потому что в некотором смысле они и есть тени. Возможно, когда-то они были из камня, бронзы или были раскрашенными холстами, но они превратились в пыль и исчезли. Даже древние афиняне понимали, что они могут исчезнуть. На пике своей культуры Софокл сказал, что «нет ничего, что, узанное однажды, не могло бы стать забытым». Может, греки и были нашими отцами, умершими задолго до нашего рождения, но нам нравится думать, что мы выползли из-под их тог. Подобно путешественнику, взирающему на самоироничные руины Озимандии, мы восхищаемся разрушительной работой времени.

Если так смотреть, можно представить, что некоторые из самых известных произведений в истории искусства являются наименее известными. Замечательного «Дискобола» Мирона, которого все знают, на самом деле никто не видел уже две тысячи лет. У нас есть только римские копии. Не сохранилось ни одной работы Апеллеса, ставшего символом художника-виртуоза. Где знаменитая «Афродита Книдская» Праксителя или его же «Эрос»? Везде и нигде.

Полвека назад, когда археологи обнаружили мастерскую Фидия в Олимпии, они обнаружили чашу с надписью «Я принадлежу Фидию» – удивительно интимную находку, которая трогает нас еще больше, потому что ни одна из его «настоящих» работ не сохранилась. Его «Зевс» и «Афина» были мертвыми богами задолго до того, как Ницше написал свой некролог.

Сколько работ Тициана, Понтормо или Фабрициуса создано, а затем уничтожено, не говоря уже о неизвестных работах неизвестных художников из менее известных культур? Сколько копий выдается за оригиналы?

Как хорошо заметил Вальтер Беньямин, произведения искусства всегда были воспроизводимы, а методы и способы воспроизведения значительно расширились.

Возможно, это усилило нашу склонность ценить оригиналы, и поэтому мы в некотором смысле невольные платоники, ненавистники теней. Подобно ересиарху Борхеса, который считал зеркала и секс мерзостями, потому что они умножают, мы инстинктивно считаем копии безвкусными, хотя каждый день сталкиваемся с миллионами репродукций и симулякров. Но каково нефизическое содержание копии? Какой аурой она обладает? Если Фидий изготовил две одинаковые бронзовые скульптуры, являются ли они двумя отдельными произведениями искусства, или двумя экземплярами одного и того же, или это один оригинал и одна копия? Страдает ли статус второй скульптуры из-за ее отставания во времени?

Когда мы стоим перед картиной Рембрандта, чувствуем присутствие художника. Когда ту же самую работу затем приписывают кому-то из его последователей, как это часто случалось за последние пятьдесят лет, мы чувствуем, что гений внезапно покидает ее. Художник переходит в соседнюю комнату, хотя мы знаем, что объект остался таким же. Мы хотим, чтобы нас преследовала какая-то первичная субстанция, эмбриональная идеальная аура.

Все это еще более усложняется из-за техники создания, будь то скульптура, принт или фотография. Например, «оригинал» бронзовой скульптуры всегда копия восковой модели, использованной для создания формы, из которой скульптура была отлита. В данном случае первым оригиналом на рынке является копия, причудливое сочетание художественной техники и перевернутой темпоральности. Эта бронза в такой же степени является оригиналом, как посмертная маска лицом умершего человека. И можно сказать, что форма является копией идеи. И все же, как ни странно, мы никогда не думали о восковой модели иначе, как о чем-то эфемерном.

Если вы достаточно изворотливы, можете привести аргумент, что удаленная копия в некотором смысле является более точным носителем первоначальной идеи, первичной субстанции. Не является ли она, благодаря отсутствию оригинала и последующему повторению, уменьшенным или увеличенным призраком, более плотным пересечением памяти, общим как для оригинала, так и для копии, усиленным и прослеживаемым, подобным фигуристу, обновляющему фигуру на льду?

Все онтологии искусства кажутся нестабильными, но мы не можем избавиться от ощущения, что с каждым повторением теряем часть ауры.

Мы называем уничтоженные произведения искусства утраченными, и в материальном плане признаем это очевидным, даже если игнорируем другое предположение, что ценность произведения превышает его пластическую проработку. Когда мы смотрим на шедевр, знаем, что какая-то часть его силы невидима и сверхъестественна. С точки зрения Платона, оригинальное произведение искусства — всегда копия, тень, презренный заменитель первоначальной идеи, даже если идея воплощена в результате сочетания спонтанных жестов, как, скажем, у де Кунинга или в перформансах. Таким образом, уничтоженное произведение искусства возвращает идею к ее идеальному, первичному состоянию. Что касается фрагментов, то они существуют в подвешенном состоянии, ни здесь, ни там. Фрагменты, по словам Чорана, не будучи живыми, больше не смогут умереть. Мне кажется, это справедливо и в отношении утраченных произведений.

Среди утраченных работ у нас есть известные неизвестные (работы, которые мы знаем, что потеряли) и неизвестные неизвестные (работы, о потере которых мы не знаем). Крошечный намек на греческую трагедию в искусстве появляется у Павсания, который рассказывает историю о том, как знаменитая куртизанка Фрина обманом заставила Праксителя подарить ей свою лучшую скульптуру и как он, влюбленный, не мог решить, какая самая лучшая. Сообразительная

Фрина сообщила ему, что в мастерской случился пожар и большая часть его работ погибла, хотя и не все. Встревоженный Пракситель выбежал вон, громко оплакивая своего «Сатира» и «Эроса». И, таким образом, выдал себя. Довольно скоро чудесный «Эрос» был доставлен в дом Фрины. С тех пор скульптура вернулась к своей бестелесной идее и превратилась в миф и память, в литературу и мем, который сформировал и видоизменил образы искусства. Он живет, потому что когда-то жил.

Мы считаем уничтоженное произведение искусства утраченным, потому что больше не можем держать его в поле зрения, а поскольку мы не можем видеть его, его больше не существует. Логическая ошибка ребенка наделяет взгляд способностью создавать объект. В данном случае не имеет значения, действительно ли произведение уничтожено или просто спрятано или украдено. «Лаокоон» был утерян на тысячу лет, пока его не обнаружили в Риме, разумеется, в виде копии, что вызывает вопрос, был ли он вообще обнаружен. Мы склонны предполагать, что копия не может быть лучше оригинала. Такова сила ауры оригинала. Это культурное предубеждение. Наша культура основана на ауре и аутентичности, которые явно выдают нашу тревогу по поводу состояния нашего собственного интерьера, по поводу шаткого постамент, на котором мы стоим, по поводу того, настоящие мы или имитация, являемся ли мы копиями.

Эта тиранья приоритета кажется произвольной, когда мы смотрим на меньшие интервалы времени, каждый из которых сейчас является микротерминалом. Если к середине этого предложения «сейчас» уже стало частью прошлого, вы не можете воспринимать его природу как существенно отличающуюся от грядущего, терминального, того, что скоро пройдет. Не существуете ли вы вчерашним в сегодняшнем, потому что вчерашний день поглощен ночью? Поскольку все вещи постоянно подвергаются нападкам со стороны неизбежного наступления в будущем прошлого, модернистская иерархия настоящего против прошлого кажется совершенно бессмысленной. Это ставит под сомнение утверждения любой периодизации, любого модернизма, моральный императив каждого самопровозглашенного авангарда. Какой у нас сейчас?

Наш запятнанный смертью буквализм в отношении линейного времени в ущерб относительному постоянству пространства, похоже, искажает наше понимание реальности, так что даже для приверженца буквализма мир никогда не избавится от своих мертвецов. Его постоянно преследуют мириады приостановленных темпоральностей.

Произведение искусства становится по-настоящему независимым только тогда, когда оно уничтожено. Только тогда оно обретает свою сущность, перестает паразитировать на нашем взгляде и сознании и больше не поглощается взглядом и сознанием копиистов. В этом его главный парадокс: оно остается самим собой, когда его нет, когда его аура развоплощена. Не для того, чтобы освятить Базаровых всего мира, армии иконоборцев, фанатиков вроде ИГИЛ, Савонаролы или кураторов выставок «дегенеративного искусства». но исчезновение произведений искусства поднимает тревожные вопросы онтологии. Можно даже сказать, что произведение считается законченным только после того, как уничтожается, точно так же, как Шекспир становится Шекспиром только после смерти, когда все его произведения воспроизведены в пространстве, когда список произведений больше не может допустить добавления, когда можно добавить окончательную дату в биографии. И так во всем.

Нам не нравится смотреть на разрушение искусства. В сущности искусства есть что-то от нас самих, так что гибель одного влечет за собой гибель другого. В нашем понимании категорий присутствия и отсутствия есть философская слабость — момент исчезновения неоправданно стирает непреодолимый промежуток присутствия. Таким образом, «утраченное» произведение искусства, подобно фрагменту, существует где-то между потерей и присутствием. Если идеи реальны, а они реальны, то они реальны как с телом, так и без него. Вчерашний день не менее реален, чем сегодняшний, именно потому, что завтра сверхреальное «сегодня», в котором вы живете, станет вчерашним днем. Если Фидий жил и умер, его нельзя полностью потерять, как и его работу. Как было однажды сказано, прошлое — оно даже не прошлое.

Андрей Пермяков

Не верю! Но верю

Павел Селуков. *Отъявленные благодетели.* — М.: АСТ, 2024



Новый роман Павла Селукова начинается как вещь невероятно пермская. Протагонист, Олег Званцев, 178 см роста, 80 кг весу, сидит на кухне панельной девятиэтажки в районе Пролетарском. В двадцати минутах автобусной езды от Старых Водников, явленных нам книгой Иванова «Географ глобус пропил». В семидесятых-восемидесятых-девяностых молодые обитатели данных районов друг дружку взаимно недолюбливали. А теперь постарели. Некоторые даже умерли: как приятель и сосед Олега Бориска. Его повезёт кремироваться в Екатеринбург наркоман-водитель Павел. Аллюзия на известного сетевого фрик-персонажа «Наркомана Павлика» очевидна и встроена в длиннющий ряд других отсылок к современным реалиям.

Начинается серьёзная осень. Сильно по-пермски начинается:

«В пермском климате каждому пермяку надо предоставлять один больничный в год не по болезни. Осенью. Чтобы пермяк мог спокойно посидеть у окна и поплакать на солнце. Он ведь его потом семь месяцев не увидит. Нет, увидит, но это будет свет, а не тепло».

У главного героя есть работа. Но не сильно любимая. Есть деньги. Но заёмные. У Бориски была жена. Теперь вдова. *«От жизни с алкоголиком ее черты подернулись чем-то библейским»*, — короткая, но показательная цитата, отражающая взгляд героя на мир. По роду преж-

ней деятельности он быстро оценивает внешнюю обстановку. Зато в собственных ощущениях обожает копаться, соотнося их с человеческими возможностями и культурными нормами:

«Ангелина захлопала глазами. Это такое выражение. Писатели так неточно говорят, потому что в действительности люди хлопают веками. Хотел бы я посмотреть на ушлепка, который хлопает глазами. Технически говоря, мы вообще только ладонями можем хлопать».

Разумеется, у Олега с Ангелиной быстро возникает любовь. Собственно, любовь сия уже жила в упомянутой девятиэтажке, но себя не проявляла. Всё-таки муж, всё-таки друг...

Впрочем, особенности персонажей заметны почти с ходу, хотя поначалу и минимальны. В наши дни, когда фут-фетиш уже лет пятнадцать как стал именно фетишем, Олег рассуждает:

«Я не люблю человеческие ступни. Я бы даже свои отрубил топором, не будь в них практической пользы. Понятно, что это эстетический закидон, но есть в нем и логика. Человеческие ступни срединны. Они недостаточно красивы, чтобы быть эстетичными, и недостаточно ужасны, чтобы быть теми же самыми».

Но сие детали. Пока всё в пределах локальной нормы. Парочка решает развеять прах Бориски в разных красивых местах: московская Красная Площадь, Питер, Сочи. Сам-то Борис просил о немногом и привычном. Мол, вытряхните урну с Коммунального моста родного города. Но друзья решили посмертно ознакомить его с примечательностями, недоступными при жизни. Всё пока хорошо, всё наше, пермское, романтическое.

Далее региональность только нарастает. Описание вокзала провоцирует слёзный приступ ностальгии: *«На Перми-2 есть два места, где можно накатить пивчанского, – шатер и кафешка «Пирожок».* Именно так. Закрылся «Горыныч», располагавшийся под аркой в ста шагах от входа на вокзал. Там было вкусно; кроме пассажиров, сидели студенты и преподаватели универа. Заведение однозначно входило в десятку лучших пристанционных мест РЖД. Закрылся буфет на самой станции. Точнее, не закрылся, но потерял лицензию на алкоголь: разница малосущественная.

Даже мордобойка в шатре какая-то привычная в своей немотивированности. Как в пермских повестях Владимира Кочнева пятнадцатилетней давности. Впрочем, тут уже мерцают кое-какие намёки на альтернативный реализм. Только их пока сложно заметить по причине впаянности повествования в тутошнюю действительность. Схожая пермскость обозначена и в отношении других городов. Москву мы, скорее, любим. Поселения мелкие воспринимаем в соотношении с малой родиной: *«Журавлёвке нечем раскидываться, она вместо этого вытянулась, как кривая кишка, вдоль двух берегов Дона, повернувшись к реке жопой...»* Пермь-то в долине Камы расположилась аналогично. Только масштаб серьёзней.

Невиданное забугорье тоже воспринимаем лично: *«...люблю Францию. Не современную Францию, полуафриканскую, а ту, в которую всякие Джойсы понаехали, чтобы советоваться с Гертрудой Стайн».* Угу. Во времена оны, когда зарплата неизворотливого большинства не превышала пятидесяти долларов, существовал в Перми кабак «Другое место». Типа «А пойдём в другое место»? Туда устрицы возили в самолётах из Парижу.

Петербург не любим:

«Одни рождены для жизни, другие – для смерти. Дэнни де Вито и Курт Кобейн. Ну вы поняли. Пермь – она для жизни. Какой-никакой, но жизни. А Питер – он весь про смерть. Офигенную, красивую, жутко благородную, но смерть».

Именно так. Плюс хамство ещё питерское вечное. В Перми – тотальная грубость и мат, а у них – хамство.

Но стоп! С Питера, даже чуть раньше, книга становится иной. Совсем не такой, как обещали первые страницы. Сначала герои, узнав друг дружку в самых разных смыслах термина, отражают собственную инакость:

– Ты продавщица из гастронома! Ты перекладываешь трупы животных, чтоб они выигрышно смотрелись в искусственном свете. Ты не можешь рассуждать в таких категориях!

– Ты – формовщик с завода. Ты вообще должен говорить «бе-ме» и просить водки. Твой язык...

Далее идёт накопление больших и малых несообразностей. Точнее, сперва – малых. Ладно, Бориса как-то очень быстро кремировали: от приезда до выдачи праха прошло едва несколько часов вместо обычной пары суток. Тут Олег мог договориться. Ладно, имел место дикий ход «е3» в сицилианской защите, вообще-то начинающейся классическим «е2-е4». Но почему ребята, опасаясь преследования, стали искать такси, не двинув в Питер автостопом? Именно так перевозил оружие писатель Андрей «Литл» Ханжин. Кстати, встреча нашей парочки с оперуполномоченными на Курском вокзале очень напоминала аналогичный момент из прозы Ханжина. Только у него всё завершилось плохо для автора, а в нашей книге – для оперов. Одному из них Олег хитрым ударом загнал в мозг носовой хрящ. Технически невозможно: от удара хрящ просто разлетится. Однако сошник (косточка, расположенная чуть глубже хряща), вполне может проломить пластинку решётчатой кости с попутным переломом нижней стенки лобных пазух и разрывом мозговых оболочек. Далее – отёк мозга и, при анатомической неточности описания, результат для потерпевшего будет именно таким, как сказано в книге.

Верещагино отчего-то названо селом, а не городом. Впрочем, на прикамском Верещагине свет клином не сошёлся; в других областях есть и сёла с таким именем.

Засим копятся нестыковки уже серьёзные. В какой-то момент начинаешь прикидывать: был бы это сценарий к фильму – нормально. При быстром просмотре косяки незаметны. А так: каким образом ребята покинули вокзал, где покрушили оперов? Отчего вдруг пять трупов ночью на Красной площади не сделались поводом для общей тревоги и перекрытия всего и вся? И вдруг – раз!

Оказывается, существует внутри спецслужб тайная организация. У тайной организации – цели тоже тайные. И этим целям герои невольны, но сильно мешают. Сразу всё становится на места, сюжетная логика срастается, делается по-иному интересно. То есть какие-то шероховатости обращают на себя внимание и в альтернативном мире. Например, выпытав (почти в прямом смысле) базу данных у гаишника, Олег находит в Ростовской области двух Павлов Рудаковых. Глянем «Вконтакте» и запрещённую соцсеть. В одном Ростове двойных тёзок больше. Или наоборот: почему в главе про Журавлёвку автор весьма радикально меняет стиль, прибегая ко множеству инверсий? Разумеется, в целях художественных. Но в каких именно? Можно долго копать.

А теперь сменим вектор разговора. Всё-таки мы говорим о сюжетной (даже остросюжетной) книжке. Забесплатно раскрывать фабулу – нехорошо по отношению к автору. Мы и так наговорили кое-чего, хватит. Лучше о существенном. Об идеях. Базовую автор устами протагониста заявляет напрямую: как нам теперь жить в мире метамодерна? Тут будет цитата. Длинная, но в определённом смысле – исчерпывающая:

«Если в модерне добро и зло закреплены за конкретными героями, а в постмодерне постоянно меняются местами и не существуют как таковые, то в метамодерне добро и зло блуждают. Они есть, но есть где пожелают, не только уживаясь в одном человеке, но и уживаясь, не вступая в борьбу, а пребывая параллельно, когда один и тот же человек может спасти ребенка и убить ребенка. Потому что и желание спасти ребенка, и желание убить ребенка в нем естественны и во многом зависят от обстоятельств. Метамодерн не говорит, что один человек добр, а другой зол, не говорит он и того, что добра и зла не существует. Он просто говорит, что и то и другое совершенно в духе каждого человека. Без исключений».

Тотальность новой парадигмы ужасно велика. На любовь и прочие отношения она тоже сильно влияет. Об этом в книге сказано прямо и много.

Впрочем, и модерн, и постмодерн были вполне тотальны. Различия – в важных частностях. Тут легче пояснить на примере такого выпуклого явления, как война.

Один раз человечеству надоело воевать за ресурсы и религию. Начали воевать за развитие. Это были войны эпохи модерна. Числа им нет: примерно от Войны за независимость США

до Вьетнамской и Афганской. Всё — прогрессу ради. Постмодернистских войн было немного. Оно и понятно: разность ценностей и отсутствие метанарративов не предполагают гибели всерьёз. В сущности, можно вспомнить лишь войну с Ираком. Перед её началом Жан Бодрийяр написал эссе «Войны в Заливе не будет». По окончании — «Войны в Заливе не было». Собственно, от этих публикаций, появившихся в 1991 году, и можно отсчитывать десятилетие тотального триумфа постмодернистских идей. Завершилась эпоха 11 сентября 2001 года, разумеется.

Далее не было ничего. Затем вернулись метанарративы (вокизм, деколонизация, BLM, меньшинства, климатическая повестка, ответственное потребление, зелёная энергетика — ну, лень перечислять) и да: настал метамодерн. Вот у него конфликтный потенциал огромен. Прочтите ту же длинную цитату. Ощущение собственной тотальной неправоты, сопровождаемое знанием, что правота существует, провоцирует на перманентный конфликт.

Биться за идею, зная, что ей противостоит равная по силе и правоте контридея — сложно и непривычно. Пока непривычно. В мире тихом, временно невоюющем, тоже будет весело и страшно. Это как Вера в читаемой нами книжке — сбежав из рехаба, где её лечили от наркомании, всячески мучая, попала в неприятности действительно серьёзные и тотальные. Ладно, продолжим наблюдать происходящее. Выбора-то особого нет.

Вернее, есть, но неоригинальный. Чреватый уходом в персональный адок. Почти век назад атеисты-экзистенциалисты явили голого человека на голой земле. Как Сартр в романе «Тошнота»:

«Теперь я знаю: я существую, мир существует, и я знаю, что мир существует. Вот и всё. Но мне это безразлично. Странно, что всё мне настолько безразлично, меня это пугает».

Книга «Отъявленные благодетели» тоже не зря носит подзаголовок «Экзистенциальный боевик». Только её герой голым быть может, а без гаджетов обходиться не может. И применяет оные гаджеты для самокопания:

«Я себя на эти действия изучал. Купил качественный диктофон и включал его на ночь, чтобы послушать, как я сплю. Нормально сплю. Все восемь часов записи внимательно прослушал. Не пердел во сне, ничего. Зевнул разок с подвыванием волчьим. Брутальненько так, женщинам должно понравиться».

Храбрый вроде человек. Дерётся хорошо. Но вот озабочен, как будет его воспринимать наружный мир. Тот самый мир, от которого его тошнит. Сартровского героя от себя тошнило, а нынешнего — от мира. Коему миру он желает, однако, понравиться. Взаимодействовать в таких конфигурациях нелегко, оттого и спрашивают протагониста его боевые товарищи в не самых подходящих обстановках: «Олег? Ты здесь»? Меняются люди; за этим тоже станем наблюдать.

Зато о некоторых художественных особенностях победившего (временно?) метамодерна уже вполне можно порассуждать. Прежде всего, насилие перестало быть карнавальным, каким оно предстало у Сорокина. Но и не вернуло собственной невинности, как, например, в ранних рассказах Шолохова, где что свинью заколоть, что человека.

С цитатами всё наоборот: постмодерн ими играл. То в прятки, то в эксгибиционистский карнавал. Явные и подсвеченные цитаты в романе Селукова присутствуют в количествах. Иногда явно проговариваемые. Бонни и Клайдом их обзывает таксист. Неточно, но логично. Развеивание праха с пафосом и трагикомедией впрямую напоминает о фильме «Большой Лебовски». В то же время, сожжённые останки почти автоматически вызывают в памяти кодификатор про «Пепел Клааса» из «Легенды о Тиле Уленшпигеле».

Или ещё раз наоборот: правда ведь сюжет, когда нечто надо выбросить в установленной точке (пусть даже в нескольких) указывает на сагу о Властелине колец? Аллюзии на кино «Достучаться до небес» и ужасающий сериал «Метод» вовсе очевидны. Хоть и неумышленны, может быть. Финал подмигивает последней книге Романа Арбитмана «Министерство справедливости». Там тоже умер кто-то не называемый впрямую, но важный, очевидный. И многое стало другим.

Или вот аллюзия тоже, думаю, непреднамеренная, но явная. Помните давнюю серию книг Юрия Никитина про троих из леса? Троица героев, казавшихся простофилями, присутствует. Собственно, может, они и есть «Отъявленные благодетели», давшие название книге. И главного зовут Олегом.

То есть не всякая цитата нынче – цитата. Просто сказано слишком много слишком разными людьми о слишком разных временах. Сложно избежать повторов.

С другой стороны: разве число ситуаций не конечно? И количество возможных амплуа? Без особой натяжки протагонист соответствует известному тропу «козёл с золотым сердцем». Люди, конечно, меняются в силу времён и обстоятельств, однако нерадикально, медленно. Сами обстоятельства, среда внешняя, переменчивы в гораздо большей степени. Они ж неживые, без рефлексий. Потому действие в новых обстоятельствах будет новым действием. Не описанным ранее.

И раз уж прозвучала приставка «мета», упомянем метасюжет. В средневековых книжках рыцари искали Святой Грааль. Тут у героев цель не менее масштабная (я обещал не подсказывать!). Двигутся они, правда, к цели методами метамодернистскими.

Впрочем, это лишнее доказательство того, что мир остаётся прежним. Как было сказано в одной старой пьесе. Назло разным пост- и мета. Но с учётом оных, разумеется.

Андрей Мансветов

От дебюта — к антологии



Ничего общего с девочкой той

Виктория Чайкина. *Острая метрика*. — М.: Ridero, 2024

В предисловии к дебютной книге Виктории Чайкиной «Острая метрика», вышедшей в поэтической серии фестиваля «Компрос», критик Ольга Аникина пишет, что поэтический голос автора созвучен голосу поколения 20–30-летних:

«В нем органично сочетаются чувствительность, ранимость, восприимчивость к Другому и тонкие эмоциональные настройки, направленные на фиксацию мельчайших перемен, как внутри сенситивного поля собственного «я», так и вне его». Еще один критик Михаил Вистгоф добавляет к этому наблюдение, что основными мотивами поэтики Чайкиной становятся «мотивы пограничья, метания и неустроенности».

Пожалуй, и то и другое высказывание действительно можно считать осями координат авторской метрики, причем далеко не единственными. Множество ритмов, стилей и способов организации текста обескураживают ровно до тех пор, пока не научаешься сочетать «и слух, и зрение, и место», понимать, что ты «мошка на мощи тысячелетней глыбы». И вот уже кажется, что автор знает и понимает все, что нужно знать и понимать автору не в режиме заёмной мудрости, а так, из себя. И появляется элегическое:

*Мы одиноки, правда,
с рождения до конца.
Порванная гирлянда –
свет от пу[с]ти Творца.*

Причем очевидно, что это не разбросанные по страницам зерна-кластеры, прорывы и метания, а именно что часть метрики, которая неизбежно становится острой во все стороны, направляя шипы читателя, в автора, в мир. Мир откровенно неуютный, страшноватый.

*Боишься бишь в лесу волка,
а он боится девчонки,
и все друг друга боятся.*

Но важен здесь не сам страх, а бесконечный круговорот месимого теста, кипение-вращение первичного бульона, в итоге которого мир сворачивается «до размеров Творца» в общепитовской кастрюле и приходят мысли о самоубийстве, и снова все по кругу. А раз по кругу, у Евы (этот образ в стихах Виктории повторяется часто) есть шанс, пусть и не навсегда, вернуться в рай, откуда однажды она была изгнана.

Мотив утраты в поэзии Чайкиной вообще можно назвать одним из главных. Но не в формате подростково-юношеского нигилизма. Утрата становится точкой отсчета или даже точкой опоры, от которой можно и нужно оттолкнуться, выбраться, вынырнуть, стать другой, новой, лучшей, родиться, наконец, как бы это не было трудно.

«Худо-бедно, постепенно восстанавливаешь речь», – пишет Чайкина. И еще: «Собираю себя, упаковываю, выкладываю на витрину». Но вот уже: «Свечусь, прыгаю, небодвигаю».

Дальше снова будет и уныние, и чувство потери, и придуманное автором слово «расстеклялась» в смысле разрушилась, но это всегда обязательно этап, который пройдет.

*Рельсы сростаются в круг,
вечный кирпичный трамвай
всё замыкает пространство
в моей голове.*

И в этом пространстве формируется-варится сохраненная и восстановленная речь, картинки-воспоминания, молитвы, народные песни, пазлы, осколки, предметы быта и так далее. В связи с чем можно было бы назвать личную поэтику Виктории Чайкиной поэтикой калейдоскопа, случайно и произвольно состыковывающейся при каждом повороте зрительной трубы, но мешает заявленная в названии книги и честно прописанная метрика. Метрика исключает случайность, просто мы не видим всех измерений. Думаю, что и автор сам видит (осознает) их далеко не все. Такая вот позиция:

*Я всегда оставляю
свои вещи в
перемещении между
точкой сечения
и невозврата.*

Лично мне трудно понять, что это за такой отрезок пути, учитывая, что точкой сечения (центром координат?) может служить любое место мироздания, а точка невозврата – всего лишь на один шаг дальше, чем полдороги от дома.

Бесконечная практика воспоминания рая

Сады и бабочки. Антология помнящих об утраченном Рае. XIX, XX и начало XXI века / Сост. Ю. А. Беликов. — СПб.: Алетейя, 2022

Поэтическая антология интересна тем, что читать ее можно множеством различных способов. Причем последовательность, предложенная составителем, относится больше к области академического, чем личного интереса. Против нее восстает свободолюбивый читательский дух (уж мой-то точно). Рука тянется пролистнуть до содержания, до списка имен и начать чтение с него, «подгружая» в сознание кусок ноосферы, сопряженный с именами знакомыми, оттолкнуться от любого и порхать бабочкой в режиме свободного броуновского листания. Другой (тоже испробованный) способ чтения — открыть книгу с любого места, зацепиться и читать насквозь. И в зависимости от того, с какого места начнешь, книга получается другая. Разная. С четким пониманием, что всегда можно вернуться по хронологии, поскольку именно в хронологическом (точнее дважды хронологическом) порядке составлена Юрием Беликовым антология помнящих об утраченном рае «Сады и бабочки». Впрочем, хронология — не главное.

«Принцип этой антологии, — пишет Беликов, — строится на том, чтобы, независимо от природы и величины поэтических дарований, представить всех поэтов равными среди равных (потому что все дети ЕДИНОГО САДА) — то есть по одному, с моей точки зрения лучшему или необходимому стихотворению на обнаруженную тему».

Впрочем, тема здесь не становится, да и не может стать жестким прокрустовым ложем. Об этой невозможности говорит соавтор предисловия поэтесса Лидия Григорьева: «Вот ведь как! Начал с частной, как раньше говорили, «узкой» темы, а замах вышел на всю историю литературы! Да еще и в будущее этот замах простёрся, где любая поэтическая гусеница имеет право мечтать воплотиться в бабочку чистой поэзии!»

Для меня антология эта еще до начала чтения ассоциировалась четко и однозначно с двумя именами и одной книгой. А именно — с большим любителем бабочек Владимиром Набоковым и сборником Ольги Седаковой «Стелы и надписи». Почему-то Борхес с его «Садом расходящихся тропок» не всплыл. И не потому, что составитель не обращался к иноязычной поэзии, просто не всплыл, и всё.

Зато впоследствии очень порадовало, что среди обнаруженных Беликовым садов нашлось одно из моих любимых ранних стихотворений Седаковой:

*Неужели, Мария, только рамы скрипят,
только стекла болят и трепещут?
Если это не сад —
разреши мне назад,
в тишину, где задуманы вещи...*

Прелесть этой антологии в том, что здесь можно найти или, с куда большей вероятностью, составить из нескольких собственный сад, собственную память об утраченном рае. Или же сад может стать другом, гостем, собеседником: «Приходил ко мне сад. Погостил и ушел...» (Светлана Розенфельд), «Сад напросился в дом. / Веткой открыл окно. <...> бездна у нас одна. Сердце у нас одно» (Юрий Казарин). И вот еще у Юнны Мориц, спрашивающей: «И не он ли в дождливые окна сейчас / окликает нас по вечерам?».

Возможно, что и не он, а тот самый утраченный рай, который грустит по нам ничуть не меньше, чем мы грустим о нем, ищем и постоянно рискуем заблудиться среди садов чужих и чуждых, почувствовать себя бабочкой-однодневкой, случайно или намеренно засушенной среди страниц — «Читая книгу, вдруг нашла я / Без жизни бабочку в листах...» — пишет Елизавета Шахова (Мать Мария).

По счастью, сама же книга способна этот ужас развеять, ведь среди поэтов куда меньше (исчезающе мало) любителей накалывать красоту на коллекционные иголки, ведь бабочки, если разобраться, это уже не воспоминание об утраченном рае, а живое доказательство его (как минимум!) существования. Или «сама и тень, и свет» (Арсений Тарковский). Или «Мятлик, бабочка, душа» (Давид Самойлов). Или... Перечислять смысла не имеет. Проще читать антологию, искать и находить годные для личного пользования метафоры, определения, образы. Иногда новые, иногда очевидные настолько, что диву даешься, как сам до этого не додумался. И тогда, как пишет Марина Тарасова:

*нам, долгоносикам регресса,
кого ждёт саван, кокон, гроб,
приоткрывается завеса...*

И там же, далее:

*Ведь бабочкой нельзя родиться,
Но бабочкою можно стать.*

И совершенно не важно, удастся ли вспорхнуть при жизни, или, как чаще всего декодируется смысл перехода из куколки в бабочку, для этого надо умереть. Главное — сама возможность превращения. Как в известной и многожды вспомненной русскими поэтами истории про сон Чжуан-Цзы. Правда, поэты куда меньше задумываются, бабочка снится философу или наоборот. Для Дао все едино и равнозначно реально — и бабочка, и Чжуан-Цзы, и сон, который им снится. Поэты же просто отождествляют крылатых с неотчуждаемой никакой земной тяготой свободой лирического переживания.

Вот так, например: «Полетела однажды Бабочка-Русь к цветку Любви, а попутно и к цветку Поэзии. / И тогда я увидел тебя и сладко сошел с ума... <...> и начал учиться ходить по радуге образов и не скользить...» (Николай Хоничев).

Читателю в этом смысле проще. У него уже есть проводники, спутники и собеседники и среди более чем двух с половиной сотен вошедших в антологию поэтов, и помимо них. Мне, в частности, в процессе чтения «Садов и бабочек» пришла на ум «бабочка-поводырь» Александра Петрушкина, ведущая «прилетевших по лестнице винтовой» и многие иные бабочки и сады, которые еще предстоит вспомнить теперь, когда составленная Юрием Беликовым антология заняла свое место на книжных полках моей памяти.

Элвис Бего родился в Боснии, стал беженцем в возрасте двенадцати лет и сейчас живет в Копенгагене. Публиковался в The Common, Kenyon Review, Ninth Letter, AGNI, The Threepenny Review, New England Review, PANK, Tin House и др. Эссе «Музей призраков» напечатано в The Best American Essays (2020).

Анастасия Волкова родилась в 1996 году в городе Ревда Свердловской области. Стихи публиковались в журналах «Урал», «Квартал», «Плавучий мост», «Хижа», альманахе «Балкон» и на сайте «Полутона»; проза – в журналах «Традиции & Авангард» и «Литература». Живет в Екатеринбурге.

Ирина Кадочникова родилась в 1987 году в городе Камбарке. Окончила филологический факультет Удмуртского государственного университета. Стихи публиковались в журналах «Плавучий мост», Prosodia, «Дегуста», «Кольцо А», в электронном альманахе «45 параллель», статьи о поэзии и рецензии на книги стихов – в журналах Prosodia, «Знамя», «Вопросы литературы», «Кольцо А», «Пироскаф», «Четырехлистник», «Урал», «Формаслов» и др. Живет в Ижевске.

Александр Дарин родился в 1991 году в с. Нелипино Свалявского района Закарпатской области. Учился в Нижегородском университете. Публиковался на сайтах «Полутона», «Литература» и TextOnly. Живет в Дзержинске.

Александр Колесников родился в 1988 году в городе Горьком (ныне – Нижний Новгород). Выпускник филологического факультета Нижегородского государственного университета. Публиковался на сайте «Полутона». Живет в Нижнем Новгороде.

Виталий Кропман родился в 1961 году в Перми. Окончил Пермский политехнический институт. Публиковался в литературном журнале «Берлин. Берега». Живет в Германии.

Карина Лукьянова родилась в Нижнем Новгороде в 1992 году. Окончила филологический факультет ННГУ им. Лобачевского. Публиковалась на сайтах «TextOnly», «Цирк "Олимп"+TV», «Ф-письмо», «Артикуляция», «Литература», «Грёза», «Флаги», Stenogramme и др. Лонг-листер поэтических премий: имени Аркадия Драгомощенко, Евгения Туренко, «Дебют», «Поэзия». Автор книги стихотворений «Преломление света» (2018). Живет в Нижнем Новгороде.

Рустам Мавлиханов родился в 1978 году в Салавате. Публиковался в журналах и альманахах «Журнал ПОэтов», «Нева», «Изящная словесность», «Крещатик», «Нижний Новгород», «Дальний Восток», «Метаморфозы», «Бельские просторы», «Истоки», «Балтика», «Идель», «Сура», «Воскресенье», «Полночь в Петербурге», «ЛиФФт», «Уральский книгоход», еженедельнике «Истоки». Живет в Салавате.

Андрей Мансветов родился в 1975 году в Перми. Окончил Пермское художественное училище. Публиковался в журналах «Москва», «Белый ворон», «Знамя», «Плавучий мост», антологии «Поэтический атлас России». Автор четырех поэтических книг. Живёт в Перми.

Андрей Пермьяков родился в 1972 году в городе Кунгуре Пермской области. Окончил Пермскую медицинскую академию. Стихи, проза и критические статьи публиковались в журналах и альманахах «Абзац», «Алконость», «Арион», «Воздух», «Знамя», «Графит», «День и ночь», «Новая реальность», «Новый мир» и др. Автор книги стихов «Сплошная облачность» (2013) и трёх книг прозы. Живет во Владимирской области.

Кирилл Поносов родился в 1993 году в Перми. Проза публиковалась в интернет-журнале «Легенда», в журнале «Луч». Живет в Перми.

Татьяна Пристолова родилась в 1998 году в Нижнем Новгороде. Училась на факультете социальных наук ННГУ им. Лобачевского. Публиковалась в интернет-изданиях «Всеализм», «Полутона», «Литкарта», «Парадигма», в журналах «Противоречие», «Флаги», «Здесь». Живет в Нижнем Новгороде.

Люся Прохоренко родилась в 1999 году в Новосибирске. Окончила Новосибирский государственный театральный институт по специальности «Артист драматического театра и кино». Работает актрисой в Пермском Театре-Театре. Спектакль по пьесе «Пьяный космонавт» поставлен на «Сцене-Молот». Живет в Перми.

Алексей Рачунь родился в 1976 году в Кунгуре. Публиковался в еженедельнике «Литературная Россия», интернет-газете «Lenta.ru», журналах «Великороссь» и «Эмигрантская лира». Автор травелога «Почему Мангышлак» (2022), соавтор путеводителей «В сердце пармы» и «Железный пояс» (2023). Живет в Перми.

Андрей Сен-Сеньков родился в 1968 году в Таджикистане. Окончил Ярославскую медицинскую академию. Автор тринадцати книг стихов, малой прозы и визуальной поэзии. Лауреат Тургеневского фестиваля малой прозы (2006), Премии Андрея Белого (2018). Стихи переведены на 25 языков, книги избранных стихотворений выходили в США, Сербии, Италии и Нидерландах. Живет в Казахстане.

Сергей Соловьев родился в 1959 году в Киеве. Окончил филологический факультет Черновицкого университета и отделение графики Киевской Академии искусств. С середины 1990-х жил в Германии и России, активно выступал как художник (персональные выставки в Германии, США, Чехии и др.). Автор 20 книг поэзии и поэтической прозы. Живет в Мюнхене.

Александр Судаев родился в 1983 году в Нижнем Новгороде. Окончил ННГУ им. Лобачевского. Публиковался на сайтах «Полутона», «Литература», «Артикуляция», «Всеализм», в газете «Метромост». Живет в Нижнем Новгороде.

Денис Шабарин родился в 1990 году в Горьком. Окончил Нижегородский институт управления и Нижегородский педагогический университет им. Козьмы Минина. Публиковался на сайте «Полутона». Живет в Нижнем Новгороде.

Drunk Trunk родился на закате Советского Союза с единственной целью — ознакомиться с трудами Кьеркегора и Ницше. В детстве подолгу сидел в прибрежной траве, бросая в реку камни. До восемнадцати лет написал множество стихов, но все их сжег. Служил в армии, работал журналистом, снимал документальные фильмы. Написал несколько сценариев для еще не снятых фильмов. Живет в Перми.

Вещь: Литературный журнал. – Пермь: Издательство «Сенатор», 2024. – 134 стр.

Редактор:
Павел Чечеткин

Выпускающий редактор:
Юрий Куроптев

Дизайн обложки:
Иван Моисеенко

Верстка, дизайн:
Евгения Тесленко

Корректор:
Наталья Семукова

Рукописи для публикации принимаются по электронному адресу:
e-mail: senator.perm@gmail.com

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «Вещь» обязательна.

Тираж 200 экз.

Адрес редакции:
614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 21
Тел. (342) 212-32-17
e-mail: senator.perm@gmail.com

18+

Проект осуществлен при поддержке Министерства культуры Пермского края

© «Вещь», 2024
© Авторы, 2024
© Издательство «Сенатор», 2024

